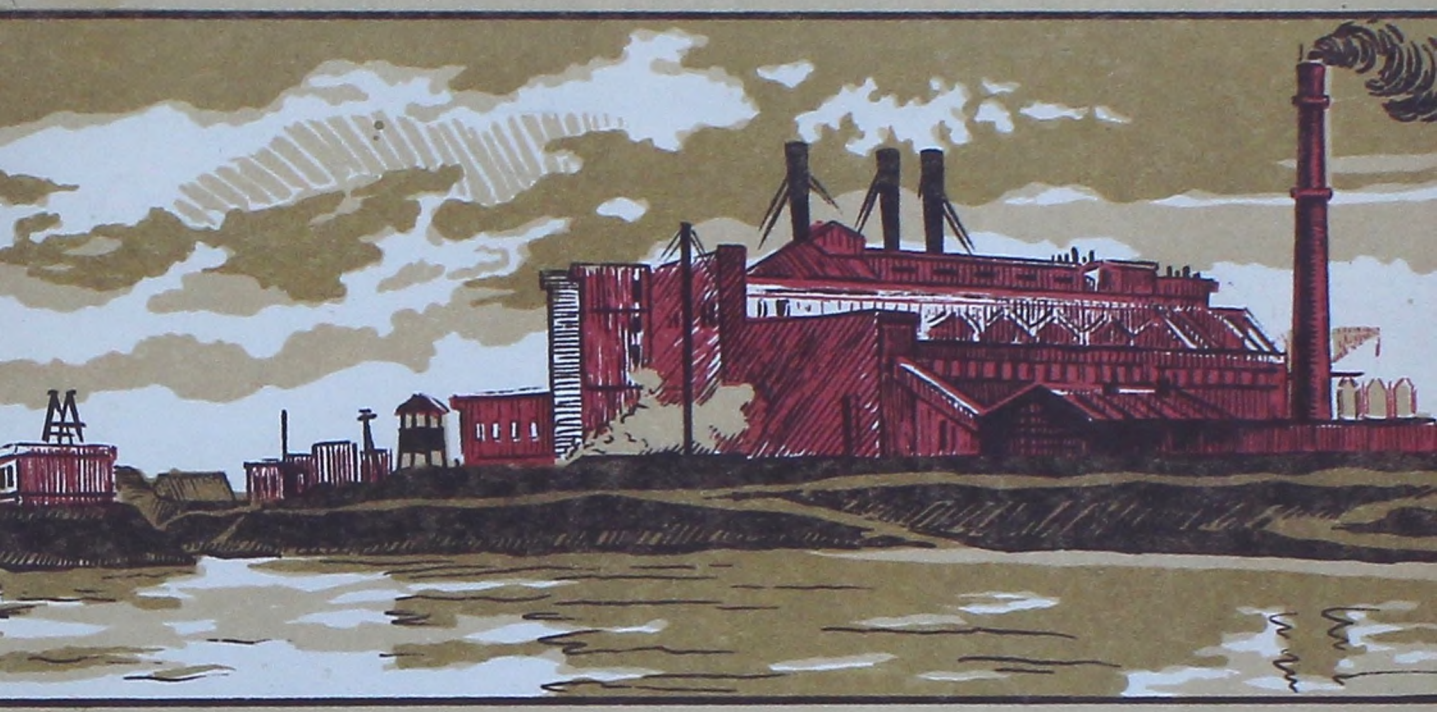


Земля родная

№ 20 1959 г.

ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬМАНАХ

ОРГАН ПЕНЗЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
И ОБЛАСТНОГО ОРГБЮРО СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ СССР

№ 20 *Выходит 4 раза в год* *1959 год*

СЕМЬ ВЕЛИКИХ ЛЕТ

Не найти такого уголка в нашей стране, где не кипела бы сейчас большая творческая работа, где люди не отдавали бы своего опыта, своих знаний, своей ищущей мысли великому делу строительства коммунизма.

Вдохновленный величественной программой исполинского созидания, советский человек стремится как можно быстрее и успешнее претворить в жизнь великие предначертания семилетнего плана, утвержденного историческим XXI съездом Коммунистической партии Советского Союза.

Весь мир следил за работой этого съезда, обсуждавшего грандиозную программу, осуществление которой будет иметь огромнейшее значение не только для советской страны, но и для всей мировой экономики. И друзья, и недруги нашего народа сходятся в одном: никогда еще история человечества не знала ничего равного семилетнему плану, разработанному Коммунистической партией Советского Союза. Никто не может оспаривать того влияния, которое окажет советский опыт на политическое и экономическое положение в мире. Даже в американском сенате раздаются голоса наиболее дальновидных политиков о том, что семилетний план имеет политическое и психологическое, равно как и экономическое значение.

Пройдет всего лишь семь лет, и на долю стран социализма будет приходиться более половины мировой промышленной продукции.

«На Западе говорят, что мы бросили «вызов». Ну, что же, если им нравится это слово, будем считать, что мы бросили вызов. Но этот вызов на **соревнование в мирном развитии экономики, в повышении жизненного уровня народа»**, — отмечал в своем докладе на XXI съезде Н. С. Хрущев.

Страна Советов, успешно построившая социализм, начинает развернутое строительство коммунистического общества, используя для этого огромные достижения науки и техники, высокий уровень развития социалистической индустрии.

В недавнем прошлом промышленные предприятия Пензенской области давали немало различных изделий, начиная от ученической тетрадки и кончая гигантскими машинами для химической промышленности.

Теперь, когда советский народ под руководством партии приступил к осуществлению первых наметок семилетнего плана, прежние критерии уже не могут удовлетворять. Нужно делать значительно больше, делать значительно лучше для того, чтобы добиться ускоренного развития народного хозяйства по пути к коммунизму. Вот поэтому трудящиеся нашей области и постарались увеличить свой вклад в общенародное дело. Исторический XXI съезд партии на многих предприятиях, в колхозах и совхозах был встречен новыми трудовыми успехами.

Наступил 1959 год — первый год семилетки. Он пришел к нам в блеске большого и радостного события: на небе засияла искусственная планета солнечной системы, созданная в нашей стране.

Не остались в долгу пензенские машиностроители и перед людьми, занимающимися систематизацией материалов Всесоюзной переписи населения. Для них были подготовлены электронные сортировки и раскладно-подборочные машины.

Но ведь не только у машиностроителей есть на счету значительное достижение. С первых дней семилетки заметны успехи работников многих отраслей промышленности, строек, транспорта, тружеников сельского хозяйства. И не случайно народ снова избрал депутатами Верховного Совета Российской Республики и местных Советов тех людей, чей труд на благо Родины служит высоким примером для всех нас.

Много перемен произойдет в промышленности и сельском хозяйстве Пензенской области за семь великих лет. Каждый год прирост выпуска различных промышленных изделий составит почти 11 процентов. Здесь следует отметить и то, что увеличение производства многих видов продукции на заводах и фабриках нашей области будет несколько большим, чем на других родственных предприятиях Советского Союза. В частности, это относится к производству мебели, которое по сравнению с 1958 годом увеличится в нашей области более чем в восемь раз (по стране увеличение предусмотрено менее чем в два с половиной раза).

Но переход к коммунизму предусматривает, как известно, не только создание мощной материально-технической базы, высокого уровня производства благ для всех членов общества, но и не менее высокой сознательности людей, живущих в таком обществе.

В докладе на XXI съезде партии Н. С. Хрущев говорил:

«Чем выше сознательность миллионных масс, тем успешнее будут выполняться планы коммунистического строительства. — Вот почему исключительно важное значение приобретают теперь вопросы коммунистического воспитания трудящихся, особенно подрастающего поколения... Чтобы прийти к коммунизму, самому справедливому и совершенному обществу, когда полностью раскроются все лучшие нравственные черты свободного человека, нам надо уже сейчас воспитывать человека будущего».

В успешном решении этой большой и ответственной задачи большая роль принадлежит нашей литературе и нашему искусству, которые активно способствуют формированию нового человека. Утверждая все лучшее, благородное, прекрасное, что мы видим сейчас в жизни наших современников, беспощадно разоблачая и отвергая все отжившее, чуждое нашему обществу, советские литераторы и деятели искусства окажут большую помощь партии и государству в формировании мировоззрения человека коммунистического общества.

Всем, кто связан своею деятельностью с литературой, театром, кино, музыкой, изобразительным искусством, партия говорит сейчас: нет благороднее и выше задачи, чем задача, стоящая перед нашим искусством, — запечатлеть героический подвиг народа — строителя коммунизма.

Для того, чтобы выполнить с честью эту задачу, чтобы ярко отобразить величие дел нашего современника и создать произведения большого звучания, большой художественной убедительности, каждый советский литератор должен теперь проявить особую требовательность к себе. Надо еще больше заботиться о своем мастерстве, о богатстве и яркости языка, о композиционной стройности каждого произведения. Рост писательского мастерства должен быть заметен с каждой новой книгой.

Вступая вместе со всем советским народом в полосу развернутого коммунистического строительства, советские писатели и деятели искусства несомненно сумеют создать такие произведения, которые сохранят на века величие и славу незабываемых дел человека нового коммунистического общества.

Ю. Кривошеев

СМЕНА ЗАКАЛИТСЯ В ТРУДЕ

В наш советский дом пришла добрая весть: партия, государство решительно берутся за перестройку школы. Взволнованно забились сердца отцов и матерей. Их думы и мысли нашли выражение в законе «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР».

Как это естественно, просто и в то же время мудро: намечая грандиозные планы на семилетие, проектируя новые шахты, мартены, заводы, поднимая экономику и культуру на невиданную высоту, партия, как заботливая мать, вспомнила о детях, сегодняшних маленьких гражданах, которые будут жить и трудиться при коммунизме.

Семь лет — это совсем немного. Ровно столько живет на свете моя Аленка. Честное слово, она прямо-таки на глазах выросла. Не заметили, как пошла в первый класс. И знаете, что она говорит своей тете?

— Хочу к тебе на завод.

У тети — завидная для ребенка должность работницы часового завода, и, конечно, она не желает худого: «Подрастай, помощница, в ученицы возьму».

Так говорят Аленке сейчас, пока она мужественно одолевает азбуку. А настанет время, когда нам, родителям, всерьез придется решать: как быть с Аленками, Вовками, Мишками?

Я знаю семьи, где уже озабочены их судьбами: «Десять лет учили, но они так и не пристроены... В институт по конкурсу не прошли, а на производстве снова, говорят, учиться надо».

Годами детей баюкали сладкими речами: стоит кончить школу, как перед вами распахнутся двери институтов. Но, оказывается, жизнь — это не легкая прогулка, а заветные парадные двери вузов легко открываются только перед трудолюбивыми. Куда же идти?

Еще вчера каждый из нас, родителей, по-разному бы рассудил, по-своему бы посоветовал. Сегодня все знают, что после школы дети должны работать. Юная смена закалится в труде.

• • •

Большое чувство ищет выхода. Хочется поделиться мыслями с другом, хорошим товарищем. Я направляюсь в школу, где много лет работает директором Петр Иванович Алексеев. Перед ним на столе номер «Правды» с новым законом. На газетных полях пометки, отдельные строчки подчеркнуты.

— Намечается не обычная реформа, — говорит он, — а настоящая революция в школьном деле. Ничего подобного мы раньше не знали.

Петр Иванович с радостью сообщает о недавних попытках учителей несколько приблизить школу к заводу. В прошлом году 60 старшеклассников получили квалификацию слесарей, токарей.

— А теперь мы закладываем фундамент нового типа школы, — говорит Алексеев.— Не хотите ли посмотреть?

Я предположил, что Петр Иванович достанет сейчас свои планы, поведет в кабинеты, в мастерские, которыми в школе заслуженно гордятся.

— О, нет, — возразил он. — Конечно, важны и наши наметки и крепкая учебная база, но перестройка больше всего ощутима там, на производстве. Идемте на завод.

Кратчайший путь от восьмой школы до арматурного завода № 1 лежит через железнодорожное полотно. Ждем, когда тепловоз протянет длинный состав.

— Помните «кукушку»? — вдруг спрашивает Петр Иванович. — Маленькую, крикливую «кукушку», которая, выбиваясь из сил, тянула несколько вагончиков? Сравниваешь эту машину с красавцем тепловозом, и перед тобой встает вчерашний и сегодняшний день нашей техники. Как далеко шагнула она вперед! Что же будет лет через семь? Нам, учителям, по обязанности приходится заглядывать в завтрашний день. Что ни говорите, а школа всегда готовила людей для будущего.

Какая великая миссия — растить человека для будущих свершений! Будем строгими, но справедливыми. Не все было плохо в нашей школе. На каком-то этапе она сыграла свою незаменимую роль, воспитала, подготовила отличные кадры рабочих, инженеров, ученых, чей труд и разум вложен в первоклассные реактивные самолеты, в атомные электростанции, атомный ледокол и, наконец, в удивительные чудеса света — искусственные спутники Земли и космическую ракету. Хочется низко поклониться педагогам, которые воспитали миллионы образованных, культурных граждан — наших современников, подготовили плеяду замечательных ученых, конструкторов, инженеров — людей с дерзким полетом мысли. Но давайте на миг приподнимем занавес времени и заглянем в будущее: коммунизм — вчерашняя мечта человечества — стал явью. Прежде всего, дыхание нового общества ощущается в характере труда. Механизация, автоматизация, химизация производства, широкое применение электроники, счетно-решающих устройств — все это еще больше приблизило труд рабочих и колхозников к труду инженеров, техников, агрономов...

Не совсем удобно мечтать, когда рядом с тобой грохочет состав. Мой спутник нетерпеливо смотрит в хвост поезда. И вот уже проносится последний вагон. Проводник машет рукой. Должно быть, бывший ученик Петра Ивановича узнал своего наставника. Много на железной дороге вчерашних питомцев школы — машинистов, стрелочников, сцепщиков — людей разных профессий. Возможно, эти профессии со временем отомрут, заменятся новыми. Через несколько лет, сидя в удобном кресле у экрана телевизора, диспетчер нажатием кнопки приведет в движение локомотив, составит поезд и укажет ему путь. Так будет не только на транспорте. Многие профессии, изнуряющие человека, исчезнут. Но труд, физический труд, никогда не вытеснят никакие машины и автоматы. Это было бы противоестественно. Мы не откажемся от своего творца, ибо только труд сделал человека могучим, возвысил его над природой.

— Не будем отвлекаться, — шутя заметил Петр Иванович, когда мы достигли заводского двора. — Я обещал показать вам зачатки школы будущего. Пройдите в этот цех.

Инструментальный цех арматурного завода. Здесь нет гигантских машин, характерного для механических цехов грохота, лязга и скрежета металла. Производство кажется каким-то компактным, собранным. Стоит немного приподняться — и на виду каждый станок, каждый рабочий.

Вот там склонился над тисками паренек и сосредоточенно шлифует деталь. Здесь юноша ставит под сверло увесистую болванку, прикидывает, соображает, то и дело посматривая на рабочего. А тот дает отрывистые распоряжения, понятные знающему человеку. Юноша уверенным движением включает мотор, осторожно подводит сверло к болванке, и вот уже змейкой вьется серебряная стружка.

Радостная улыбка освещает лицо юноши. Кто он? Девятиклассник. Вместе с тремя сверстниками два дня в неделю проводит Владимир Шумилов в цехе, а четыре дня — в классе. Он ничем не отличается от рабочих. К нему предъявляют такие же требования. Выдали трудовую книжку. Начисляют ученическую зарплату. И если он заболеет, то возьмет больничный лист.

Четверо юношей на арматурном заводе, одиннадцать в тепловозном депо и тридцать девушек в швейном цехе — все девятиклассники — на практике ощутили полноценность новой системы обучения. Отныне цех и класс для них составляют две части неразрывного целого, имя которого — школа. Педагогическая формула — соединение обучения с производительным трудом — получила свое конкретное выражение, ясное и доступное девятиклассникам.

Мы стоим у истоков новой школы и слушаем, что говорят о ней рабочие, мастера:

— Давно пора учить ребят не только в тетрадках задачки решать, но и в жизни.

— Вот увидите, через три года они станут хорошими специалистами и грамотными людьми.

Многое еще не сложилось в школе, ступив-

шей на новый путь. Каждый день перед учителями возникают новые и новые проблемы.

Кого будет выпускать одиннадцатилетка? Сегодня слесарей, швей, а завтра? Придется, очевидно, менять профиль обучения в зависимости от потребностей народного хозяйства. А если случится, что, проучившись год-другой и освоив специальность, ученик пожелает оставить школу?

Ну, что же. Общество от этого не проиграет. Молодой рабочий сможет сразу же или после некоторого перерыва продолжить образование в вечерней, сменной, заочной или сезонной школе. Ведь такой путь станет основным для получения знаний.

Гибкость новой системы образования в том и состоит, что она позволит всей молодежи стать хорошими рабочими и колхозниками, а со временем — кончить одиннадцатилетку, техникум или институт.

* * *

Мальчишка сделал скамейку. Сбил добротную, немного неуклюжую вещь. На лице юного столяра целая гамма чувств: гордость, радость и удивление. «Неужели это я сделал?»

Он ставит скамейку на пол, садится на нее и пробует раскачивать. Прочно!

— Хорошая мебель! — смеется юный умелец.

Учитель одобрительно качает головой, волнуясь, щиплет посеребренный временем ус и как-то трогательно кладет свою мозолистую руку на плечи ученика:

— Видишь, как приятно чувствовать себя умелым. Это, брат, счастье — самому делать нужные вещи!

Как жаль, что школа, да и семья порой лишали своих питомцев этого счастья. В слепой любви к детям мы забывали, что только цветам полезен тепличный воздух. Для человека теплица — несчастье. Не сейчас, так потом тепличное воспитание обязательно скажется. Привыкнет человек обходиться без труда и забот — вырастет беспомощным и хилым.

Сколько же гуманизма, ленинской заботы о человеке в положении о том, что с определенного возраста все дети должны трудиться, создавать ценности, полезные для общества. Может быть, кому-то покажется преждевременным и даже жестоким заставлять подростка работать? Но речь идет о посильном труде, без которого невозможно гармоническое развитие человека, его здоровье, воспитание воли, характера. О такой системе обучения, соединенного с трудом, думали передовые люди многих поколений. И вот этим мыслям суждено осуществиться.

Перестройка образования подсказана самой жизнью. Она не раз заставляла учителей критически смотреть на сложившийся метод обучения и воспитания.

Вспомним ученические производственные бригады. Инициативу, рожденную в школах Ставрополья, поддержали на пензенской земле.

Сейчас в сельских школах области насчитывается свыше 160 ученических производственных бригад. Они объединяют десятки тысяч школьников, которые ведут полеводство, ухаживают за птицей и скотом, управляют тракторами, комбайнами. Ребята, все ученье которых вчера проходило в четырех стенах, замыкалось рамками параграфов и твердокаменным учебным планом, на работе расправили плечи. Стоило сдвинуть с места старые школьные устои, как произошло невероятное. Дети стали растить кукурузу, готовить силос ничуть не хуже своих отцов и матерей!

Цифры, как правило, скрывают многое: опыт, труд, думы земледельца. Мало о чем говорит и цифра 5 тысяч. Столько гектаров в 1958 году засеяли кукурузой пензенские школьники. Они ухаживали чуть ли не за каждым растением и осенью заложили почти девять миллионов пудов силоса.

Школьники растили не только кукурузу, но картофель и сахарную свеклу, воспитывали цыплят, закладывали сады. Если бы можно было подсчитать все школьные дела, то итог получился бы внушительный. Но есть не менее существенный результат этой работы: дети почувствовали себя тружениками, получили хорошую закалку. Вот что важно!

Но, может быть, на этом и остановиться? Есть, мол, в школах ученические производственные бригады, которые отлично трудятся, и надо развивать, совершенствовать эту форму дальше. Так-то оно так, но здесь опять не обойтись без перестройки. Дело в том, что многие ученические бригады в настоящем виде не могут решить задачу соединения обучения с производительным трудом. У них нет постоянных участков, сельхозмашин. Иные бригады целое лето занимаются лишь прополкой посевов, учащиеся не получают

на практике представления о всем комплексе работ в сельском хозяйстве.

Выход нашли в Соседской школе. Здесь договорились с правлением колхоза о том, чтобы ученическая бригада круглый год работала на одном и том же поле. В колхозе согласились. Школе предоставили участок земли в 125 гектаров, выделили сельскохозяйственные машины, инвентарь. Так образовался школьный «колхоз», большое учебно-производственное хозяйство, в котором будут свои животноводческие и птицеводческие фермы. Новый учебный план позволит еще лучше сочетать общее и профессиональное обучение с общественно полезным трудом.

Так решают важную проблему в Соседской, Чаадаевской сельской и Бессоновской средних школах. Перестройка образования позволит безболезненно, не перегружая учащихся, решить эту задачу повсюду.

Строитель, воздвигающий дом, ясно представляет цель, к которой стремится. Он наперед видит свое детище, одетое в камень и стекло, — удобное, просторное жилище, в котором люди справят новоселье. Закладывая фундамент новой школы, мы сознаем всю значимость и величие сегодняшних свершений для будущего. Завтра школа подготовит сильного, духовно обогащенного, красивого человека, в котором гармонично будут сочетаться любовь к труду на благо общества и высокая культура. Более разумная система образования и воспитания подведут человека к сознанию трудиться вдохновенно на пользу всех.

Потребуются более совершенные методы обучения, лучшие условия учебы, труда и отдыха, плодотворное воспитание хороших задатков и художественного вкуса. Закон о перестройке образования не только все это предусматривает, но и раскрывает в деталях пути перехода к работе по-новому.

Восьмилетнее образование станет обязательным. Выпускник восьмилетки пойдет трудиться на производство. Он сможет потом учиться в школе рабочей или сельской молодежи. Возможно, поступит в одиннадцатилетку — школу типа фабзауча, в техникум. И здесь учебу он опять-таки будет сочетать с работой. Время на труд и на получение знаний как в том, так и в другом случае будет примерно одинаковым.

Равные условия для получения специальности и образования, совершенно иной подход к изучению языка, участие в конкурсном отборе в вуз общественности и многое другое — во всем этом проявилась демократичность новой реформы. Но не только в самом существе перестройки обнаружилась ее подлинная народность. Она заключена в том, что партия и правительство и на этот раз посоветовались с народом.

Нам, журналистам, особенно заметно, с какой горячей страстностью откликнулись простые советские люди на призыв принять участие в обсуждении судеб средней и высшей школы. Поток писем в редакции газет и радио, пожалуй, не был никогда таким мощным и благодатным, как в дни обсуждения тезисов доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде партии и тезисов о перестройке народного образования. В этом потоке народной мудрости — золотые крупицы опыта, мысли и чаяния о нашей жизни, о том, как наилучшим образом воспитывать и учить подрастающее поколение.

Агроном Г. Сорокин высказал свои соображения о главном: «Самый верный путь к получению образования — заочная и вечерняя учеба. Пусть человек хорошенько проверит, насколько сильно его призвание. А получить диплом — никогда не поздно. Я сдал экстерном экзамен за техникум 55 лет от роду».

Агронома Сорокина поддержал инженер Нефедьев: «Нет сомнения в том, что заочный вид обучения — самый прогрессивный. У людей, получивших таким образом среднее или высшее образование, знания и культура в работе будут куда выше».

Приветствуя перестройку, люди тут же делились своими пожеланиями: «Надо продумать учебный процесс в сети заочного и вечернего обучения, — писал учитель М. Ембулаев, — считаю необходимым поурочную систему заменить лекционной».

«Считаю необходимым», «предлагаю», «вношу предложение» — так начинались письма о перестройке.

Нужны ли школы для одаренных? По этому вопросу мнения были самые разнообразные. «Истинный талант и так себя проявит»,—говорил инженер В. Тюньков. «Нет,— возразил ему преподаватель пединститута С. Хромов, — мы не можем ждать, пока люди без посторонней помощи разовьют свои способности».

«Нам нужны мастерские, учебные хозяйства», — говорили студенты, тут же предлагая, каким образом улучшить практику. В

политехническом институте студенты стали на путь реального проектирования, установили связь с бригадами коммунистического труда. Сама юность, задорная, вдохновенная, сказала свое слово.

«Улучшая трудовое воспитание, нельзя забывать об эстетическом воспитании. Школам нужны квалифицированные преподаватели музыки и пения», — писала завуч Белинской средней школы Ключева, и ее поддержали многие.

Люди самых различных профессий и возрастов считали своим святым долгом высказаться о школе.

...Через семь с небольшим лет моя Аленка тоже окончит восьмилетку. Она получит отличное воспитание и образование, познает радость труда. Перед ней откроются десятки дорог в жизнь.

Девочка не знает, что сегодня люди решают ее большую судьбу. Но настанет день, когда моя дочь скажет: «Спасибо, люди. Спасибо, партия. Я вступаю в жизнь полезным человеком!».

А. Скорняков

НА СТРОЙКАХ ПЕНЗЫ

(Заметки журналиста)

«Предусмотреть в семилетнем плане — широкий размах жилищного и коммунального строительства с тем, чтобы в течение семилетия построить жилых домов в городах и рабочих поселках общей площадью 650—660 миллионов квадратных метров или 15 миллионов квартир...»

(Из резолюции XXI съезда КПСС по докладу Н. С. Хрущева «О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы»).

Барак, в котором жила семья кочегара Федора Николаевича Жаренкова, был аварийный. Когда его построили — никто не помнил. Зимой в прохудившиеся стены дул ветер, и возле щелей к утру выступал снег, который хозяйка сметала веником.

В одну из наиболее бурных весен барак постигло новое бедствие: подземные воды вышли на пол. Намокшие печки не топились, а только дымили.

Жильцы барака спешно эвакуировались: кто на частные квартиры, кто к родственникам, кто просто к соседям. Уехал с ребятишками из барака и зять Федора Николаевича—Сергей Селиванов, токарь-инструментальщик часового завода.

— Шел бы ты насчет квартиры хлопотать, — сказала мужу Елизавета Максимовна и, поджав губы, с укором добавила:—Непробивной ты какой-то у меня! Другие из директорского кабинета не вылезают.

— Зачем ходить, разве не знают, как живем? — произнес Федор Николаевич и, поймав беспокойный взгляд жены, отвернулся.— Будут людям давать, и мне дадут.

В начале зимы вернулся зять. Хозяйка, у которой Сергей снимал угол в проходной комнате, заявила:

— Освободите мне комнату.

— Но ведь сейчас зима, куда же мы с ребятишками? — пробовали возразить квартиранты.

— Меня не касается. Буду я из-за вас кур морозить! Мне площадь для них нужна, а не ваша двухсотенная...

Однажды к Жаренкову зашел директор фабрики вместе с секретарем партбюро.

— Опять обследовать, как живем?—спросил хозяин гостей. — Довольно с меня, сто комиссий уже было, актов целый воз накопился! А что эти бумажки — из них стены не выложишь.

— Знаем, как живешь. Мы не за этим пришли, Федор Николаевич, — спокойно сказал директор. — Пришли мы посоветоваться. Сам знаешь, строят подрядчики плохо, при таких темпах жить тебе в этом бараке придется еще долгонько. А барак нужно ломать — нельзя в нем жить. Так вот, не поможешь ли ты нам, если мы возьмемся за строительство жилья своими силами? А материал на фабрике есть: цемент, кирпич, известь, детали сборных деревянных домов. Пятьсот кубометров леса можно выделить для строительства жилья только от экономии на упаковке бумаги. Это мы уже подсчитали.

— Хорошая мысль, честное слово! — воскликнул Федор Николаевич. — Да разве рабочие руки труда боятся? Вот они, шершавые, мозолистые, тридцать лет только уголь в топку бросали. Они могут и печку сложить и топор держать. Я сам выйду на стройку да зятя с дочкой и сыном прихвачу. Выйдут на помощь и другие семьи!

Вскоре на заседании партийного бюро фабрики «Маяк революции» обсуждался вопрос о жилищном строительстве. Многие старые производственники дали согласие обучить застройщиков профессии каменщика, печника, штукатура.

Одно за другим в завком посыпались заявления. Все они были примерно такого содержания: «Прошу включить мою семью в коллективное строительство», или: «Желаю участвовать в народной стройке».

На основе поданных заявлений в цехах со-

ставлялись списки застройщиков. Предпочтение отдавалось старым кадровикам, лучшим производственникам, а также рабочим, которые жили в аварийных бараках, ютились в кухнях, проходных комнатах и частных квартирах. Из этих людей комплектовались строительные бригады.

В студеный январский вечер вышла семья Жаренкова на строительную площадку. Нужно было расчистить сугробы и отогреть промерзлую землю.

И вот, съедая вечерний мрак, запылали костры, отбрасывая пляшущие языки пламени на тающий снег; гулко застучали кирки, ломы и лопаты. Не чувствуя холода, строители рыли траншеи под фундаменты.

В эти дни коллектив паро-силового цеха объявил призыв, чтобы каждый человек, какую бы должность он ни занимал на фабрике, отработал на стройке десять часов! Этот замечательный почин подхватили и другие цехи.

В первую очередь необходимо было благоустроить дорогу, ведущую на строительную площадку. Был объявлен массовый комсомольско-молодежный воскресник. Рабочие подвозили шлак и засыпали им подъездные пути.

Ежедневно на стройплощадку поступали кирпич, известь, деревянные щиты и другие детали сборных домов. В каждую бригаду поставили по опытному каменщику. Однако на первых порах не все шло гладко. Каменщики не только клали стены, но и подносили цемент, песок, вручную месили раствор. Все это отрывало их от основной работы и замедляло темпы строительства. Нужно было сосредоточить подсобные работы где-то в одном месте, а наиболее трудоемкие из них — механизировать.

На территории фабрики были найдены детали вышедшей из строя бетономешалки. Рабочие механического цеха общими усилиями отремонтировали ее и установили на участке.

Казалось, все хорошо, бетономешалка установлена, знай себе — меси раствор. Но где брать воду? Она была далеко: ведрами много не наносишь. Строители поставили возле растворного узла электронасос.

К середине апреля четыре деревянных дома на шестнадцать квартир были подведены под крышу. А рядом с ними экскаватор уже рыл котлованы для десяти каменных четырехквартирных домов.

Стройка развернулась.

Прошел год. Восемьдесят семей рабочих, служащих и инженерно-технических работников фабрики получили квартиры.

Мне пришлось побывать в строящемся рабочем поселке, который здесь называют «Дубовая роща». Давно уже справил новоселье Федор Николаевич Жаренков. Готовится получить квартиру в каменном доме и зять его Сергей, проживающий пока совместно с тестем.

* * *

В пяти километрах от города, чуть в стороне от шоссе, растет новый поселок велосипедного завода. Одноэтажные аккуратные домики, каменные и деревянные, еще с непокрашенными железными крышами, образовали тихие, прямые улицы и переулки, названные именами русских композиторов: Чайковского, Рахманинова, Бородина и других. Поэтому и поселок именуют «Музыкальным».

Несколько месяцев назад здесь было чистое поле, занесенное снегом, на котором когда-то цвела гречиха да колосились ячмени. А теперь шестьдесят четырехквартирных домиков насчитывается в поселке. В одних уже живут, а другие — еще строятся.

Патриотическое движение—строить жилье своими силами — нашло широкий отклик на велосипедном заводе. По размаху строительных работ велозаводцы по праву занимают первое место.

Бродя в воскресный день по поселку, я зашел в один из бревенчатых домиков. В нем четыре квартиры. В одной живет слесарь станкостроительного цеха Александр Петрович Щербаков.

— Вы извините, что у нас такой беспорядок, — сказал Александр Петрович, приглашая меня в комнату. — Вот сынка на днях женил. Сорок человек было приглашено. Видите, как отплясывали, весь пол исчертили, красить надо.

Александр Петрович замолчал, словно давая мне время оглядеть квартиру. В доме было чисто, уютно и никакого беспорядка не замечалось. Только на кухонном столе еще стояла гора вымытых тарелок самых различных размеров и влажно блестели опрокинутые вверх дном рюмки.

— Два года свадьбы дожидался сынок-то, — продолжала разговор, начатый мужем, Анастасия Григорьевна. — Жили мы в бара-

ке шестеро, ни шагнуть, ни повернуться: тут и прихожая, и зал, и кухня. Все на пятнадцати метрах. До женитьбы ли! А теперь, видите, какое приволье: невестку привести не стыдно.

В тяжелых условиях (в одной квартире две семьи) жил ремонтный слесарь Александр Ефимов. Чтобы помочь товарищу, его напарник, коммунист Василий Герасимович Синичкин, сказал ему:

— Иди, Саша, на стройку. А я за тебя и за себя задание выполню.

На собрании каждый взял обязательство— отработать на строительстве жилищ не менее тридцати двух часов. На еженедельные воскресники ездили все в организованном порядке — во главе с начальником цеха, его заместителем и секретарем парторганизации. Никто не чурался черновой работы: грузили бревна, рыли котлованы, подносили щебенку, сколачивали потолочные щиты. В гальваническом цехе произошел такой случай. Выделили бригаду плотников рубить сруб. Пришли они на территорию деревообделочного цеха, стали тесать бревна. Стучат топорами, щепки летят во все стороны, а сруб не получается. «Плотники» подобрались один к одному — никто из них до этого за топор не брался. Два венца рубили целый месяц. Кое-как отесали, а углы вязать никто не умеет. Распалась бригада. Пришлось комплектовать другую. Бригадиром ее поставили опытного плотника, который быстро наладил дело.

Пока рубили срубы, молодежь гальванического цеха во главе с комсоргом Дмитриевой рыла на строительной площадке траншеи и подготовляла фундаменты.

Чтобы лучше и эффективнее использовать транспорт, погрузочные работы вели ночью. Многие рабочие были переведены во вторую смену, так как днем они трудились на стройке. Руководители цеха принимали все меры для оказания максимальной помощи строителям. Так, например, в нерабочее время была организована поделка железных печек для сушки штукатурки, досок для электросчетчиков, мастерков, бачков под различные растворы и прочих принадлежностей, необходимых в строительном деле. Все это делалось из отходов производства.

Многие строители трудились поистине самоотверженно. Вот один из примеров. Подготавливался к сдаче каменный дом. Провести в нем электропроводку поручили цеховым монтерам Самсонову и Уварову.

Проработал Уваров до пяти вечера и стал собирать инструменты.

— Ты куда? — спросил его напарник.

— Как куда — домой! Я свое отработал.

— Но ты пойми, — убеждал его Самсонов, — если не закончим проводку, завтра малярам делать нечего. Срок сдачи сорвем.

— А меня это не беспокоит. Я отдал, что положено... а сверх нормы не могу.

Самсонов гневно сверкнул глазами...

— Ладно, иди, — сказал он. — Без тебя управлюсь...

Павел Самсонов работал всю ночь и монтаж внутреннего освещения закончил. Утром на стройучасток приехала встревоженная жена Павла. Увидев мужа, она обрадовалась и, не скрывая улыбки, призналась:

— Я уж не знала, что и предположить. Грешным делом, подумала, что ты... у любовницы.

— У лю-ю-бо-вницы! — расхохотался Самсонов. — Вот тоже выдумала.

Дом был сдан государственной комиссии вовремя.

Не на словах, а на деле проявляется здесь забота о строителях. Во время летне-осеннего сезона, когда на стройках велозавода работало большое количество людей, специальная машина возила туда в термосах с фабрики-кухни горячую пищу, в походном ларьке продавались кондитерские, хлебо-булочные изделия и другие товары.

Возле продовольственного магазина, который открылся в поселке, средних лет женщина на всю улицу костерила завмага:

— Слушай, как же тебе не стыдно! Водкой торгуешь, а булочек не завез.

— Транспорта не нашел, Антонина Пантелеймоновна, поверь, — пытался оправдываться завмаг, все больше краснея под взглядами посторонних людей.

— А под эту отраву нашел транспорт?

— Я водку раньше еще вывез.

— Значит, позаботился!..

Женщина круто повернулась и, махнув рукой, уже на ходу, в сильном возмущении проговорила:

— Эх, вы, о своей выгоде только печетесь.

Я спросил старика, кто эта женщина.

— А вы не знаете? Да это ж наш начальник строительного участка Кириллова.

В пяти шагах от магазина, во временном дощатом сооружении, расположена прораб-

ская контора, занимающая две небольшие комнаты. Я вошел в тот момент, когда Кириллова говорила с кем-то по телефону. Она еще не остыла от возмущения и продолжала в том же духе:

— Хороший гусь прислан, нечего сказать. Да если он еще тут будет пьянство разводить, я поставлю вопрос перед областным управлением торговли! Пока магазин не работал и мы сами заботились о снабжении, у нас все было! — Антонина Пантелеймоновна вдруг улыбнулась невидимому собеседнику и уже спокойным голосом проговорила: — Эх, и разошлась я, как в рукомойнике море. Не уймешь. Слушай, Федорович, у меня к тебе еще вопрос. Выдели, пожалуйста, трактор: бревна надо подвозить. Хорошо? Договорились.

С этими словами Кириллова нажала на рычажок и положила трубку.

— А вы что стоите, садитесь, — обратилась она ко мне.

Антонина Пантелеймоновна раньше работала старшим инженером-конструктором ремонтно-строительного цеха. Сидела в тепле, в уюте, проектировала будущий поселок. Все шло прекрасно, так бы и продолжалась привычная жизнь, если бы не решение пойти на стройку. То, что перед ней лежало на листе ватмана, еще в карандашных квадратах, кружочках, пунктирах, захотелось увидеть в реальной действительности. Она захотела строить эти дома, улицы и переулки своими руками, своим умом, сердцем, своими повседневными заботами. Она знала, что жилье ждут сотни людей, и ей радостно было услышать первый смех новосела, увидеть весело вьющийся над крышей дымок.

— Пришли на голое место, страшно было начинать, — рассказывает Антонина Пантелеймоновна. — Первым делом давай электролинию тянуть, а расстояние четыре километра. Построили столовую-времянку, склады, кубовую для подогрева воды, которую возили цистернами из совхозного пруда. Стояла апрельская распутица. До Чаисского карьера, где разрабатывался бутовый камень, нельзя было проехать. Стали искать камень поблизости. Нашли в Арбекове, но он оказался плохим. Снова поиски. Посмотрели бы вы, в чем мы раствор месили в то время. Кто корыто приволок, кто ящик сколотил на скорую руку, кто бочку из-под капусты приспособил. В такой посуде не скоро замес сделаешь хороший, да еще каждому приходилось растолковывать, как правильно составлять раствор.

Многие строители ничего делать не умели. Фундамент пробовали класть голыми руками, без применения инструментов. Тут же, на объектах, прорабы организовали нечто вроде техминимума: учили рабочих владеть кельмой, кувалдой, мастерком.

Антонина Пантелеймоновна на минуту замолчала, словно что-то припоминая. По лицу ее пробежала усмешка:

— А вы знаете, многие не верили, что мы что-нибудь сделаем. Пессимисты встречали меня и спрашивали: «Ну как, ты еще не вернулась в цех? Твои строители еще не разбежались?» Подавляя в себе обиду, я отвечала как можно веселее: «Ничего подобного не случится! Через полгода новоселье будем справлять». А пессимисты качали головами и бросали вслед: «Все равно у нее ничего не выйдет при такой корытной механизации. Вон в сорок восьмом строительном тресте, с его техникой, специалистами, и то дела идут не ахти важно...»

— Руки у вас не опустились после таких разговоров?

— Нет, что вы! Не сладко, конечно, слушать такие речи. Но что поделаешь. На каждый роток не накинешь платок. Надо было делом, фактами разубедить маловеров. Я видела, как горячо трудились люди, как заражали они своей горячностью нас, прорабов, и всех тех, кто имел какое-то отношение к строительству. Вот поэтому я и была уверена в успехе! Лишь бы люди работали хорошо, а техника — дело наживное. Теперь у нас транспортеры, водонасос, растворомешалки появились, а «корытная» механизация ушла в прошлое... Мы с вами заговорились, — сказала Кириллова, вставая. — Надо пройти по объектам. Если желаете, пойдемте.

В рубленом бревенчатом доме шла отделка. Маляры красили рамы, наличники, двери, просушивали только что сложенную печку.

Строительные объекты разбросаны на большой территории. В одном месте расчищается площадка под котлован, в другом — уже идет кладка кирпичных стен, в третьем—вставляются рамы, навешиваются двери, стучат молотки по железу крыши. Кое-где в каменных домах идет сушка штукатурки. Делается это так. Самодельную, из толстого железа печку, напоминающую небольших размеров цилиндровый чан, ставят на длинных ножках посредине комнаты. У печки нет ни-

какой трубы. В нее накладывают уголь и разжигают на улице, а потом, пышущую жаром, заносят в комнату. В условиях зимы без этого сдача домов задержалась бы.

— Значит, скоро переезжаете? — спросила начальник участка одного из строителей, который прибивал плинтуса.

— Как будто так, Антонина Пантелеймоновна, — ответил тот. — Милости прошу на новоселье!

Позже мы побывали у новоселов. Люди уже обжили свои квартиры, обзавелись обстановкой, наладили домашний уют. Планировка квартир простая, удобная: отдельная спальня, светлый просторный зал, кухня с небольшой по объему печкой и духовкой. Радостно смотрела Антонина Пантелеймоновна на новые улицы и переулки. Растет, хорошеет «Музыкальный» поселок! Теперь сюда ходят автобусы, а со временем наладится регулярное троллейбусное сообщение.

Я простился с Антониной Пантелеймоновной, когда в поселке уже зажглись огни. Кое-где топились печки, и высокие столбики дыма поднимались в спокойное вечернее небо.

* * *

Почти два года назад, собирая материал для боевого листка «За жилищное строительство», который в то время выходил при редакции областной газеты, я бродил по стройкам в центре Пензы. Здесь, на месте грязных рыночных площадей с многочисленными киосками, ларьками и лабазами развертывалось большое жилищное строительство.

Был погожий осенний день, по-летнему теплый. В участковой конторе, куда я заглянул, меня заинтересовал разговор прораба с группой подсобных рабочих, присланных в помощь строителям с завода.

— Как вам, товарищи, не стыдно? Я бегаю, разрываюсь, а вы сидите, да еще костер разожгли, — говорил прораб, все больше распаляясь. — Где же у вас сознательность? Ведь из-за вас кладка стен задерживается!

Подсобники хмуро молчали, и лишь один, грузный, широкоскулый детина, сказал:

— Неужто отдохнуть нельзя? Мы не железные.

— Сколько же можно отдыхать? Полчаса, час, но не целый день. Вы палец о палец не ударили, у костра анекдотиками забавляетесь.

Чей-то смешок в углу, и сквозь смех дребезжащий голос:

— Хе-хе! Куда нам, товарищ прораб, торопиться! У костра просидели или мозоли лопатой натирали — все равно в бухгалтерии по-среднему начисляют.

— Хорошо, не желаете работать, я сейчас позвоню директору, чтоб замену прислали. И скажу, чтоб за сегодняшний день вам не начисляли зарплату!

— Это как же так? — раздалось несколько голосов.

— А вот так.

— Ладно, пошли, братцы, хватит лодыря корчить.

Говоривший эти слова пожилой рабочий задержался на пороге и с горечью продолжал:

— Я вот сам остронуждающийся. Дирекция мне обещает, но не знаю, получу ли угол в этом доме. Много сдавали домов, а мне все нет. Поэтому не уверен. А вот если бы за мной и другими рабочими заранее закрепили квартиры в непостроенном доме, мы бы горы свернули. День и ночь трудились бы, лишь бы быстрее получить жилье.

Дверь захлопнулась, а прораб, немного успокоившись, сказал:

— Дело человек говорит. Действительно, почему бы руководителям предприятий не выдавать ордер заранее, с условием отработки на стройке определенного количества часов? Во-первых, строительство пошло бы быстрее, а во-вторых, — меньше было бы несправедливостей в распределении жилплощади!

Жизнь подтвердила целесообразность такой практики: на велосипедном заводе она полностью оправдала себя. Здесь распределение квартир идет не в кабинете директора, а непосредственно в цехах. Кто лучше может знать бытовые условия, в которых живет рабочий, как не руководители цеха, мастера, бригадиры и просто товарищи по работе?

— В минувшем году мы построили своими силами два дома, — говорил мне заместитель начальника станкостроительного цеха Михаил Федорович Колесников, — и распределили квартиры среди рабочих, которые действительно нуждаются. Когда на общем собрании утверждали кандидатов на получение ордеров, рабочие в один голос заявили: «Правильно, дать им квартиры! Знаем, как живут». А что, если бы дирекция, к примеру, отдала одну из квартир другому человеку?

Застройщики потеряли бы заинтересованность, и за такой короткий срок мы ничего не построили бы.

Не менее важно и другое — качество строительства.

У велозаводцев в каждом доме четыре совершенно отдельных квартиры. В каждой квартире сорок метров полезной площади, вполне достаточной для средней семьи. Большое внимание здесь уделяют отделке комнат. Стены не просто белятся под тот или иной колер — на них делается специальный трафаретный накат. Причем оформление стен разное по цвету и рисунку, в зависимости от назначения комнат. В спальне — более мягкий, спокойный тон, располагающий к отдыху, в зале — цветовая гамма усилена.

Хорошо, когда ничто не омрачает новоселья. Но часто бывает иначе. Не успел новосел прожить несколько дней, оглядеться, как в его квартире произошло чрезвычайное происшествие: в одной из комнат обвалилась потолочная штукатурка.

В Пензе, по улице Кирова, 69, в квартире, где живет начальник производства завода счетно-аналитических машин Н. Г. Сазонов, потолок обваливался четыре раза. Не посчастливилось, говорят, и директору завода тов. Шумову, который тоже получил здесь квартиру. У него сыпались с потолка песок и глина. Недаром сюда откомандировали специального дежурного штукатура...

Хлебнули горя жильцы дома № 33 по улице Цеховой. Две зимы у них в комнатах день и ночь горели электроплитки. Отопительная система почти не работала, вода шла с перебоями, и жильцы вынуждены были ходить за водой к колонке, на большое расстояние. Приключилась здесь и еще одна беда: от сильного напора водосливной бак на чердаке не выдержал давления, лопнул. И вода полилась потоком, размочила штукатурку, прошла три этажа, испортила ценные вещи.

* * *

За послевоенные годы население Пензы возросло. На бывших пустырях поднялись корпуса новых заводов. Однако темпы жилищного строительства отстали от бурного роста промышленности.

В пятой пятилетке трудящиеся города получили 105 тысяч квадратных метров жилья, что крайне недостаточно. В 1953 году строители сдали 30 тысяч квадратных метров жилплощади, в 1954 году—15 тысяч, в 1955 году — 16 тысяч, в 1956 году — 23 тысячи, при годовом плане 36 тысяч. И лишь в 1957 году при годовом плане в 56 тысяч сдано подрядным, хозяйственным способом и методом народной стройки 85,9 тыс. квадратных метров, в том числе за счет личных сбережений и госкредита построено 38,3 тыс. квадратных метров жилья.

В перевыполнении плана решающую роль сыграл метод народной стройки. Трест 48 недодал трудящимся около восьми тысяч квадратных метров жилья. На строительных площадках непроизводительно используются башенные краны и другие механизмы, грубо нарушается технология, слабо внедряется передовой опыт.

Вот что говорят рядовые строители:

— У нас так уж повелось, что с утра раскачка, а к вечеру — горячка. Часто каменщики приступают к работе в одиннадцать часов. Кирпич подвозят нерегулярно. Работаем урывками. Спросишь, когда придет машина, и никто не знает, будет она или нет.

Очень часто жители города наблюдают такую картину: на дорогу выходят бригадиры каменщиков и неторопливо смотрят вдаль. Они ждут машину с раствором, а рабочие сидят без дела. Потом бригадиры, обгоняя друг друга, бегут навстречу увиденной машине. Кто первый перехватит, в ту бригаду и везет шофер раствор.

В семилетке жилищное строительство в Пензе получит новый размах. По предварительным данным, за семь лет будет сдано в эксплуатацию 900.000 квадратных метров жилья, против 372 тыс. метров, сданных за предыдущие семь лет.

Справиться с этим заданием строители смогут, лишь покончив с недостатками, о которых рассказано здесь.

Н. Почивалин

ДОРОЖНЫЕ СТИХИ

НИЗИНА

Четвертый день вдали от дома —
Поля, весенних трав настой.
Четвертый час подряд спидометр
Версту считает за верстой.
И вдруг, сильней дохнув бензином,
Как конь —
Ослабив тормоза,
Автомобиль летит в низину,
Скосив стеклянные глаза.
Оборван рокот, настежь дверцы,
И — тишина,
И слышно мне:
Меж ребер собственное сердце
Упруго бьется в тишине.
В безмолвии, в покое, в дреме,
От трав до солнца, с головой,
Корявые стволы черемух
Исчезли в пене кружевной.
И тут же — ниже, мягче, тише,
Вся целомудрия полна,
Глаза туманит дикой вишни
Чуть розовая белизна.
Плывет низина белым цветом,
И кажется — ей краю нет,
Как будто вся низина эта —
Один огромнейший букет.

И не черемуха, не вишня —
Из снов далеко-голубых,
Как будто это юность вышла
В воздушных платьицах своих!..
Все чище воздух, краски ярче,
Чуть внятно ветерок подул,
И солнца красный одуванчик
В цвету черемух утонул.
И в тот же миг — сперва несмело,
Но все щедрее и смелей
В качнувшемся раздолье белом
Запел, ликуя, соловей.
Аж зябко — радостно и грустно!
А он вовсю,
А он подряд
Разбрасывает росы-бусы,
И бусы хрусталем звенят!
Ах, шут возьми!
Я горд, что родом
Мы с соловьем из мест одних,
Где наша русская природа
Душе же русской и сродни:
На вид скромна и неприметна,
Но породнись, уверься в ней —
Душа цветет весенним цветом,
Поет, как этот соловей!

КАНДАЛЫ

За окнами небо синеет.
Ветви яблонь белым-белы...
Я стою в Наровчатском музее
И разглядываю кандалы.
Темно-бурые, старые, ржавые,
Побывавшие, видно, в огне,
Как осколки самодержавия,
Прицепились они к стене.
Словно политы кровью и потом...
Кто он, хмурый коваль-человек,
Что и горькую эту работу
По привычке сработал навек?
Кто их —
Гордый, чахоточный, бледный,
Мысль свободою горяча, —
Кто их первый носил и последний,
По российской пыли волоча?

Разбежались стремительно мысли...
Равнодушно взглянув, — невдомек —
Мимо них, кандалов,
Белобрысый
Мальчуган пробежал в уголок.
Там комочек застывшего зайца
Меж засушенных веток и трав.
...Впрочем, нечему тут удивляться,
Он, малыш, удивительно прав:
Вороша прожитые года,
Пусть большие в молчанье толкутся, —
Кандалы его ног не коснутся
Никогда.
Да, пожалуй, и мне уже будет
Этой ржавой музейной беды. —
Ждет дорога, веселые люди
И поднявшие парус — сады.

ОЦЮ ПИЧЕ [1]

Цветов и хвои острый запах.
Верхом, в машине ли, пешком,
Ты остановишься внезапно
И, ахнув, поглядишь молчком —
Осинником окружена,
Смиренно вставшим в отдаленье,
Неповторима, как виденье,
Стоит сосна.
Уходят вглубь коряги-корни,
Ствола медлительный разбег.
Летам и бурям непокорна,
Она стоит четвертый век.
Стоит зелено-медной кручей,
Подняв почти до облаков
Четырнадцать громадин-сучьев —
Еще четырнадцать стволов.
Стоит в молчанье горделивом
Минувшего нестертый след,
И, может быть, такое диво —
Одно на белый свет!
Чего она за эти годы
Не повидала?
Тут, под ней,
Водили девки хороводы,
Цыгане прятали коней,
Гуляли баре, утром ранним
Молился богу божий странник,
Бездомные искали дом
Под вековым ее шатром.
Ее не раз, срывая хвою,
Касалось жало топора, —
Лишь скупо плакала смолою
Ее железная кора...
Текли века,
Века сменяя.
Раскрепощен, счастлив и горд,
Иные песни напевая,
Иной идет сюда народ.
Сурова и проста на вид,
Шумит в торжественном хорале.
Деревья трижды умирали,
Она, нетленная, — стоит.
Неся веков нелегкий груз,
Стоит, невзгоды все осилив,
То не твоя ль судьба, Россия,
Не ты ли это, Русь?

Май-июль 1958 г.

Алексей Карасев

ЮЖНЫЙ ВЕТЕР

Репортаж.

Весна запоздала — за рощею где-то
Застряла в холмистых просторах снегов...
И ночи томятся над картой «Рассвета»,
Над ширью бессонных полей и лугов;
То хлопает ставнями ветер игривый,
То тишь заскребет, как мышонок в углу,
То, как застоявшийся конь белогривый,
Апрель пенным снегом копытит сквозь мглу...
Но вызов весне запоздавшей уж брошен,
И мимо, конечно, весна не пройдет,
И ты это знаешь, товарищ Тимошин:
Она, как в засаде, до времени ждет.
Ты сможешь взнуздать ее прыткое пламя?
Тебе ль неизвестен с лукавинкой нрав?..
Она, брат, тебя проверяет делами,
Порой выходя из-за рощ и дубрав!..

Ответить?
Конечно, ответить-то можно,
Вопрос председателю этот не нов,
Но все же...
Но все же невидимой дрожью
Кольнуло, как тонкой иголочкой, бровь.
...Хозяйство в прорыве, и бьют недоглядки.
— Да как уподобить доходы смогли
Доходам
С курчавой картофельной грядки,
Ведь тут
девять тысяч гектаров земли?!

Слова прозвучали не гулко, не глухо —
Не молота звон и не шепот травы...
Ответил завхоз: — Застопорил нас Пухов...—
И снова Тимошин:
— А где были вы? —

И слышно, как ветер забегал по крыше,
Затем он утих, неторопко умолк...
Насупился Пухов, тут предом ходивший,
Досель не понявший, в чем был его долг.

[1] Сосна великая (мордовск.).

СТАРИК-БРИГАДИР:

Тимошин,
Скажи, на кого уповаешь?
Шагай, если даже и путь каменист;
Тебя мы затем и избрали, товарищ,
Что верим — идет впереди коммунист.
Ты верно работал в соседней артели,
Не можешь ты жить от народа тайком;
И если мы сами тебя захотели,
Уж не подведем ни тебя, ни райком!

Короткая речь старика-бригадира,
Как ветер с весенних запревших полей,
В какую-то точку в душе угодила —
И больно чуть стало,
А все ж веселей!
И рядом, на улице, ива и тополь,
Проснувшись, ударили звонко в стекло,
И возле крылечка правленья затопал
Жеребчик,
Заржавши призывно, тепло;
Залаяли псы, петухи заорали,
И все это гулом пошло по земле...
Да пусть петухи о рассвете наврали,
Но что-то и вправду случилось в селе!
Быть может, на спавшей всю зиму Вороне
Пошла, колыхаясь, из берегов
Вода и неистово-радостно гонит
Разгульные волны на хляби лугов?
Иль просто упала с замерзшего клена
Сосулька, и это по зыби полей
Доход перекраивает с мильона
На полные девять мильонов рублей?

— А, может,
И вправду нужна тут поправка? —
Встает председатель и ставит вопрос.

— Мильон? Он ведь тоже — не на поле
травка,
А девять — не луковка, — режет завхоз.

Но дверь открывается настежь — и это,
Как гром в знойный день или свет после сна,
Ударило враз:
— Над полями «Рассвета»
Размашистым ливнем гуляет весна! —
Стоит молодой бригадир на пороге,
С плаща и фуражки стекает вода:
— Набухли все тропы, пути и дороги,
Напора мощней я не знал никогда!
И все улыбнулись:
И старый, кремневый,
Седой бригадир,
Трактористы,
Севцы, —
Не парню,
А той, небывалой,
Той новой
Весне, что схватить нужно им под уздцы!

СТАРИК-БРИГАДИР:

— Да, девять мильонов, товарищ Тимошин!
Народ у нас крепок, до дела охоч,
И с этой поклажею справиться сможем,
Когда все сработаем в полную мощь!

ТИМОШИН:

А что опоздавший нам скажет об этом?
Вперед мы рванемся иль, может, пока?..

МОЛОДОЙ БРИГАДИР:

Нет, это реально вполне для «Рассвета»;
Пиши миллион с каждой тысячи га!

— Ты зелен, Миколка, в сужденьях и в
деле, —
Нахмурившись, молвил сурово завхоз. —
Нагрузим повозку, а тягло не в теле,
Кому потянуть перегруженный воз?

Смолчал бригадир, но, обиду смирив,
Он кудри поправил, в улыбке расцвел.
И кто-то тихонько заметил: — Красив...
И с завистью кто-то: — На взлете орел!

МОЛОДОЙ БРИГАДИР:

А техника? Разве не тягло? Стальное!
Ни ребер, ни грыжи — машинный ход,
И мнение у трактористов такое:
Оплатим всю технику
в один год!
— Вот, вот!—восхищенно сказал Тимошин,—
Пожалуй, сегодня вот так и решим!

. . . . . .

Все утро шел лед на Вороне, искрошен,
И южный дул ветер, неудержим.

с. Карсаевка.

Александр Васильев

ТРЕТИЙ ФРОНТ

Рассказы

ОТ АВТОРА

Третий фронт... Его не найдешь на картах минувшей войны. Официально тогда для фашистской Германии существовало два фронта: первый — восточный, на котором решалась судьба человечества, и второй — западный (он так и назывался «второй фронт»), известный не столько военными подвигами, сколько пируэтами дипломатов, стремившихся оттянуть его открытие.

Третий фронт — это фронт скрытой, невидимой миру борьбы. Его солдаты не носили знаков различия, не числились в списках воинских соединений, не имели зачастую даже своего имени. Все это было у них в прошлом. Третий фронт освобождал человека от формальностей. Он требовал только одного — мужества.

Этот фронт был поистине фронтом «скромного героизма». Большинство его бойцов погибло в фашистских застенках, в лагерях смерти, в лесах и горах Европы, и редкий человек может сказать, где находятся их могилы.

Третий фронт — это фронт военнопленных и политических заключенных, продолжавших борьбу до конца. Это — многонациональный фронт честных людей, воевавших с врагом на его же территории.

Рассказы «Третий фронт» во многом документальны. В них рассказывается о людях, которых я знал.

ФЛАМИНГО

«...Это птица хитрая, чуткая. Она боязлива, всегда насторожена и бодрствует, когда другие спят...»

Из заметок натуралиста.

Вчера, когда они укладывались на ночь, их было трое. А сегодня, едва забрезжил рассвет, они обнаружили, что к ним добавили еще одного смертника. У противоположной стены, под окном, темнела массивная фигура и слышалось легкое посапывание.

Друзья тревожно переглянулись. Кто он, этот упитанный детина, неужели он не знает, куда попал? А если знает, то почему так сладко спит? Судя по его виду, можно подумать, что он собрался зимовать в этой камере...

Костя, самый молодой и единственный ходячий из всех, прочел во взгляде Ивана Степановича молчаливый приказ. Он встал, прошелся по камере и словно невзначай задел новичка за ногу. Тот вздрогнул и открыл глаза.

— Здорово, приятель, — хрипло сказал Костя, оскалив желтые зубы.

Новичок растерянно заулыбался. Теперь Костя рассмотрел, что это молодой парень, лет двадцати трех, широколицый и голубоглазый, одетый в добротную форму «тодтовца».*

— Доброй утро, товарищ, — произнес он и протянул руку. — Галль Петер, русский Петруша.

— Немец?

Тодтовец кивнул.

— Я есть механик, из гамбурский гавань, понимаешь, ту-ту...

Парень продолжал улыбаться. Он кивал головой, оглядывался то на лежащих Ивана Степановича и Милана, то на Костю, гудел, изображая пароход. Но даже в сумерках

* Тодтовцы — служащие вспомогательных отрядов в гитлеровской армии (строительных батальонов, ремонтных груп[illegible]

видно было, как он покраснел, чувствуя на себе недружелюбные, прощупывающие взгляды.

Рука у него была горячая, шершавая и вместительная. «Здоровый, дьявол», — отметил про себя Костя, который, как все низкорослые люди, ревностно относился к чужой силе. Они объяснились на эсперанто бродяг и заключенных — причудливой смеси из русских, польских и немецких слов, дополняемых жестами и взглядами. Белобрысый сказал, что попал сюда по недоразумению — вчера вечером он сидел с женой дома и слушал трансляцию из Берлинской оперы, но дураки-жандармы («все жандармы — дураки!») пришли к нему искать подпольный радиопередатчик. Когда Костя спросил, откуда он знает русский язык, немец признался, что вначале воевал в России. Здесь, в Сувалках, он живет второй год и недавно женился на местной «панёнке», у которой «папа поляк, а мама украинец»...

Костя отошел. Его мучили противоречивые чувства. С одной стороны, новичок вел себя явно подозрительно — путался, запинался, краснел, но с другой... Было в нем что-то детское: пухлые губы, большие голубые глаза с белыми, пушистыми ресницами. Однако, чтобы никто не мог обвинить Костю в доверчивости, он нахмурился, натянул на головы себе и друзьям дырявую полу шинели и произнес:

— Фламинго.

Это уже был шифр, понятный только им троим. Такую «птицу» немцы могли подсунуть и сюда, в камеру, для того, чтобы выудить правду.

Милан сверкнул белками и сделал рукой красноречивый жест: придушить! Но Иван Степанович поморщился, потрогал свои колючие, налитые водой щеки и покачал головой.

— Рано, — сказал он и усмехнулся. — А он не дурак, не прикидывается красным.

Значит и «старик» думает, что этот парень подослан, только хочет убедиться точнее! И в груди у Кости всколыхнулась ненависть. Убить фламинго за несколько дней, а может быть даже часов до собственной смерти — это будет достойной расплатой за все!

Теперь только одно внушало им страх... Гестаповцы не хотели отправить их на тот свет вместе с их тайной. Но все средства были уже испробованы. Оставалось вернуться к тому, самому надежному...

Трое друзей — двое русских и серб — с тех пор, как они бежали с шахты «Шварц-Роза», перерезав водоотводные трубы, трижды столкнулись с человеческой подлостью. Первый раз это было в Эссене, куда их привез старый Ганс, немец-машинист, водивший составы с углем. Старик спрятал их в развалинах большого дома, недалеко от станции, и сказал, что поговорит с товарищем, тоже машинистом, водившим составы в Восточную Пруссию, чтобы тот помог им переправиться ближе к фронту. Но прошел день, другой, а старый Ганс не приходил. И они догадались: старика предал его помощник, молодой человек с унылой физиономией, мечтавший о фуражке машиниста с золотым околышем.

Выйти из развалин они не могли — их схватили бы на первом перекрестке. Оставаться здесь — без хлеба, без воды, а главное, уже без надежды на помощь, было невыносимо. Особенно тяжело было Милану и Косте, людям нетерпеливым и впечатлительным. Только выдержка Ивана Степановича спасла их от безумного шага. «Старик» успокаивал товарищей, повторял, что надо ждать...

Однажды над городом заревели сирены воздушной тревоги. Город прижался к земле, спрятался в бомбоубежища, замер, заломив над собой белые руки прожекторов. «Пора», — сказал «старик», и все трое выбрались из развалин и побежали на станцию. Им посчастливилось: они пробрались в новенький вагон-аптеку, который предназначался для военного госпиталя в Белграде. Они поедут в Югославию! Впервые на мрачном лице Милана появилась улыбка. О, только бы добраться до его родины, а там любая тропинка приведет к партизанам!

Тревога кончилась. Пришли солдаты, погрузили в вагон еще несколько ящиков, потом закрыли и запломбировали двери. Поезд тронулся.

Для троих началась жизнь, похожая на сказку. Они спали в гамаках, подложив под головы кислородные подушки. Курили шалфей и ромашку. Иван Степанович, который, казалось, знал все на свете, в том числе и медицину, изготовил особую питательную смесь из глюкозы, рыбьего жира и небольшого количества спирта. Это называлось у него «ликер «Беглец». Милан, в прошлом модный портной Крагуеваца, с помощью хирургических ножниц, иглы и шелка сшил каждому отличные брезентовые штаны...

На седьмой день путешествия они остановились на станции бывшего пограничного городка Есенице. Начиналась Словения, первая из земель Югославии. Здесь Иван Степанович уступил руководство Милану.

Высадка произошла в ту же ночь. Когда поезд медленно тащился по склону Юлийских Альп, Милан вылез в окно и открыл дверь. Внизу темнела пропасть, заросшая кустарником. Милан спрыгнул, за ним спрыгнул Костя. Последним покинул вагон Иван Степанович: он мысленно попрощался с ним, как с человеком, потом облил спиртом тюки с ватой и поджег...

Цепляясь за кусты, они скатились в лощину, где шумела горная речушка. А на рассвете они уже сидели в домике мельника — в просторной горнице, за столом, покрытым холщовой вышитой скатертью, ели жирную баранину и запивали домашним вином. Хозяин — маленький, круглый человек с носиком-пуговкой — дружески похлопывал Милана по плечу и говорил, что партизаны будут рады принять в свою семью таких смелых людей. Торопиться не надо, он сегодня же свяжется с командиром отряда и устроит им свидание. А пока спать, спать... Их уложили на широкую хозяйскую кровать, и все трое, едва успев снять ботинки, уснули.

В полдень они сидели за другим столом— в полицейском управлении городка Крань, перед начальником местных усташей.* Грозно шевеля черными усами и принимая наполеоновские позы, красавец начальных не столько допрашивал их, сколько излагал свою программу борьбы с коммунизмом. Затем их выпороли и бросили в карцер. Милан плакал, как ребенок, но не от боли, а от обиды, что первый из его соотечественников оказался предателем. Друзья успокаивали несчастного серба и говорили, что они сами виноваты — дали опоить себя вином и сладкими речами. Тогда Милан вытер слезы и поклялся, что если бог сохранит ему жизнь, он вернется сюда и перемелет мельника его же жерновами...

На другой день их заковали в кандалы и присоединили к большой партии каторжников.

Вскоре они были уже в Верхней Силезии на торфяном болоте, где их заставили работать по колено в воде. Это был сущий ад, даже хуже ада. Трех друзей — этих «красных» — ненавидели все: и надсмотрщики, и заключенные — недавние бандиты и мародеры. Несколько раз они пытались втянуть их в драку, грозили задушить ночью на нарах...

Им пришлось бы худо, не появись однажды доктор Марек. Почему он пришел сюда, неизвестно. Вероятно, кто-нибудь из надсмотрщиков, боявшийся палочек Коха, попросил его проверить всех кашляющих.

Марек был плотный, лысый, энергичный чех в военной форме с погонами унтерарцта.* На его горбатом носу восседало пенсне, из-за толстых стекол смотрели круглые, как у совы, пронзительные и насмешливые глаза. Он выстроил каторжников в одну шеренгу, велел снять рубахи и не спеша пошел вдоль строя, прикладывая каждому к груди стетоскоп и заглядывая в лицо.

После осмотра унтерарцт выпроводил из барака всех, даже начальника команды, и оставил одного Ивана Степановича. Врач сказал, что у этого каторжника он обнаружил хрипы и хочет произвести дополнительное обследование.

В чем заключалось это обследование, тоже осталось тайной. Но через час унтерарцт объявил новое построение. Подозрительные хрипы были найдены еще у двоих, и вскоре трое друзей, уже без кандалов, под охраной хромого унтера и собаки, ехали в туберкулезный лагерь в Сувалки.

Милан и Костя недоумевали. Иван Степанович сказал им лишь о том, что Сувалки— польский городок километрах в трехстах от Минска, а Минск вчера взят Красной Армией...

Только в лагере, на пустынном холме, в уборной, продуваемой сквозняком, «старик» открыл друзьям тайну.

Костя и Милан настороженно смотрели по сторонам и слушали... На окраине Сувалок, сказал Иван Степанович, возле железнодорожных мастерских, живет человек, которого доктор Марек назвал своим другом. Он может переправить через фронт не только троих беглецов, но даже целую сотню, если, конечно, они не будут хлопать ушами. По словам Марека, сейчас против Гитлера воюет, наверное, целый полк его «крестников». Как его найти? Для этого надо запомнить маленький шифр: «Скажите, вы не знаете

* Усташи — одна из разновидностей кулацко-националистических банд в Югославии, сотрудничавших с гитлеровцами.

* Младший офицерский медицинский чин в немецкой армии.

какого-нибудь хорошего доктора?» На это должен последовать ответ: «Знаю, но он сейчас далеко». — «А не могли бы вы показать его работу?» Тогда человек должен расстегнуть воротник и показать на груди крестообразный шрам...

Но свобода сама шла им навстречу. На пятый день пребывания в Сувалках друзья узнали, что Красная Армия освободила Вильнюс, а на седьмой немцы стали эвакуировать из лагеря всех здоровых — писарей, поваров, санитаров. В лагере начался хаос.

Новости приносил Костя—он нашел здесь земляка, занимавшего немаловажный пост шефа «капут-команды». Однажды Костя принес тревожную весть: немцы собираются уничтожить лагерь. Нужно бежать, немедленно бежать! Костин земляк, который также боялся эвакуации или расстрела, предлагал свою помощь.

Вечером Костя привел друзей в хибарку, где их встретил высокий, стройный мужчина лет тридцати, похожий на черкеса. Он крепко пожал всем руки и представился: Семен Дудко, хозяин мертвецов, а вообще — гвардии капитан. Угостив друзей ароматным самосадом, Дудко коротко и ясно изложил план побега. План был принят единогласно, — даже Иван Степанович не мог придраться ни к одной детали...

На следующее утро, еще в сумерках, друзья прокрались к большому фургону, стоявшему возле хибарки «шефа». Раздевшись догола, они легли на дно фургона, подложив под себя одежду. Вскоре они услышали Дудко: он говорил охраннику-немцу, чтобы тот подождал его здесь, пока он объедет бараки и соберет «жмуриков». Насвистывая песенку, Дудко поднялся на сиденье и бросил в фургон брезент. Друзья содрогнулись: их накрыла мокрая, холодная материя, пропитанная специфическим запахом мертвых тел. Но это было только начало. Вскоре на них посыпались трупы, стало трудно дышать...

Их пробудил голос Дудко. «Ну вот, мы и приехали», — дважды повторил он и начал вместе с помощниками выгружать трупы.

Фургон находился уже за городом, на кладбище. Когда он был наполовину пуст, Дудко отослал помощников набрать картошки в соседних огородах. Немец пытался возражать, но Дудко сказал, что ему тоже дадут картошки, и голодный желудок взял верх над чувством долга: солдат замолчал и поплелся охранять воров. «Шеф» остался один, по-видимому, он был вне подозрений.

Через полчаса четверо беглецов были на расстоянии ружейного выстрела от кладбища. Они перешли вброд реку, и Дудко привел их к небольшому домику с глинобитными стенами. Это был заброшенный фольварк: вода в колодце заплесневела, ставни с окон были сорваны, труба покосилась. Здесь можно было немного отдохнуть, обдумать, что делать дальше.

Дудко держался по-прежнему молодцом. Он осмотрел все входы и выходы и сказал, что лучше всего укрыться в сарае, так как дверь его обращена не к реке, а к лесу. В самом домике Дудко оставил Милана. Серб должен был немедленно сообщить, если заметит что-нибудь подозрительное на том берегу.

В сарае все трое бросились на старое, трухлявое, пахнущее пылью сено и несколько минут лежали без движения. В тишине было слышно лишь жужжание пчелы...

Первым пришел в себя Дудко. Он сел, закурил и толкнул Костю. «Кончай, земляк, загорать. А то фрицы, поди, зашевелились. Выкладывай, где человек?» Иван Степанович удивленно посмотрел на своего друга и понял, что тот проговорился... Костя насупился, мотнул чубом, хрипло буркнул: «Чего мы в темную играем? Говори ему, старик, шифр. А то мы все, как привязанные».

Действительно, скрывать от четвертого беглеца их тайну после всего, что было, старик не имел права. А если придется разъединиться,—как Дудко найдет их?

Иван Степанович тоже сел. «Дай слово, Семен, что ты никому никогда...» Дудко понял его. «Честное гвардейское», — ответил он, блестя глазами. Рука его, державшая папиросу, слегка дрожала.

В душе «старика» шевельнулось подозрение. «Нехорошо», — сказал он себе. Но в этот момент Костя крикнул «стой» (он увидел что-то на чердаке) и вдруг вскочил, бросился на Дудко, схватил его за горло, и они покатились. Сверху, как с неба, грянул выстрел, и с чердака, вместе с сеном, посыпались немцы...

Дудко был фламинго номер три. Третий и, вероятно, последний в их жизни.

Теперь Ивана Степановича и Костю, а вслед за ними Милана, которого поймали в камышах у реки, допрашивал не какой-ни-

будь придурковатый опереточный индюк, а гестаповец в чине полковника, пожилой, благообразный, с аккуратно подстриженными усиками и тонкими губами, пропускавшими только тщательно отобранные слова, проверенные долголетней практикой и точные, как стрелы.

Фронт был близко, а тщательное расследование требовало времени, и полковник пошел напрямик. Он предложил беглецам выдать «этого человека», а взамен обещал полную свободу и по тысяче марок каждому. Затем стоимость агента увеличилась еще на тысячу. Затем на две...

Чем больше росла сумма, тем больше все трое понимали, как насолил местному командованию этот никому неизвестный человек. Тайна, которой они обладали, постепенно наполняла их гордостью, а молчанье, которым они отвечали на предложения полковника, стало орудием мести.

На третий день благообразный полковник впервые заерзал на стуле. В его голосе появилось раздражение. Он решил кончить аукцион.

Их начали бить. Подвешивали за руки. Заставляли дышать дымом... Но они молчали.

На седьмой день Ивану Степановичу сломали несколько ребер, а Милану выбили зубы.

На десятый день им, уже полумертвым, объявили, что по законам Великой Империи они приговариваются к смертной казни...

Так друзья попали в камеру смертников. Это была длинная комната, с мокрыми каменными стенами, с маленьким круглым окошечком под потолком. Стоял август, и ночью уже было так холодно, что всем троим пришлось лечь вплотную друг к другу и укрыться шинелями с головой.

Первую ночь они провели, не думая ни о чем. Они снова были вместе. Друзья лежали рядом, отдыхая от побоев, тихо переговариваясь. Им никто не мешал...

И вдруг теперь в их камере появился этот, четвертый, долговязый «тодтовец» с упитанной мордой, называвший себя Петрушей. Он подмигивал, запинался и краснел, пытаясь показать себя рубахой-парнем и рассчитывая на откровенность. Сам он плохо говорил по-русски, но понимал все. Не иначе, его прислали сюда за их тайной!

Костя так и не заснул. Он лежал с закрытыми глазами и все время думал о новичке, хотя тот вел себя тихо и на разговор не набивался.

Прошло часа два. Наконец за дверями послышались тяжелые шаги и характерный металлический звон. Все трое, даже больной Иван Степанович, встрепенулись: шла «госпожа баланда».

Заскрипел засов, отворилась дверь, и на пороге показался курносый одноглазый солдат-разносчик с баком. «Подымайся», — весело рявкнул он и черпаком, прикрепленным к баку, налил Косте в ржавое ведро три литра грязной, сладковатой свекольной баланды. «На всех», — предупредил солдат, затем посмотрел на лежащего Ивана Степановича и добавил еще черпак.

«А куда тебе?» — грозно спросил он у новичка. Парень усмехнулся и снял с головы свою «тодтовку». «Сюда», — сказал он. Солдат выругался и вдруг, оглянувшись, достал из-за пазухи длинный плоский хлебец и быстро сунул его долговязому.

Но Костя заметил. Он понял: тюремщики подкармливают фламинго, который, конечно, не привык к баланде. Ничего, этот хлеб ему выйдет боком...

Костя с ненавистью наблюдал за долговязым. Вскоре ему показалось, что тот читает какую-то бумажку. Так и есть! Почувствовав на себе Костин взгляд, немец быстро скомкал бумажку, поднес ее ко рту и проглотил.

Костя посмотрел на товарищей — они лежали в прежних позах, натянув шинели до подбородка и глядя в потолок. После баланды Иван Степанович, казалось, распух еще больше. Милан тоже выглядел неважно: худой, как мощи, с неподвижными горящими глазами. И Костя, снова почувствовав себя ответственным за их судьбу, решил доложить им о своих наблюдениях.

Совещание проходило как и в первый раз — под шинелью. Говорили шепотом. Милан был полностью согласен с Костей, что записка, полученная долговязым, — инструкция гестапо. Но Иван Степанович отнесся к сообщению Кости как-то странно, почти легкомысленно. Пусть этот парень получает инструкции хоть целыми возами, пусть жрет их, пока не лопнет, — какое им дело. Они-то не проболтаются!

Костя замолчал, но не смирился. Как могут они смотреть равнодушно на этого немецкого битюга с его тодтовской шапкой, хлебом и дурацкой улыбочкой. «Петруша»! Так бы и дал ему по морде.

Костя лег на живот и стал думать о человеке, которого доктор Марек называл своим другом. Вот это герой! Живет здесь среди врагов, а воюет вместе с Красной Армией. Переправить столько людей через линию фронта и ни разу не попасться... Да, за такого необыкновенного человека не жалко отдать жизнь. Только узнает ли он об этом?

Костя горестно вздохнул и начал погружаться в сон.

Проснулся он от легкого толчка. В камере было темно, и Костя догадался: уже ночь. На полу лежал тонкий, как нитка, луч — это сквозь неплотно прикрытый дверной «глазок» пробивался из коридора свет. Послышались неторопливые шаги, и луч на мгновенье погас. Прошел часовой...

Толчок повторился. Костя быстро повернулся на спину, сел.

Ему стало страшно: перед ним стояла длинная черная фигура.

— На, возьми...

Костя ощутил в руках что-то твердое.

— Это хлеб... Хлеб.

Фигура удалилась. Костя ощупал буханку с потрескавшейся коркой. С одной стороны был отрезан кусок — не больше четверти. Буханка пахла дымом, теплой печью, золой...

Хлеб был чуть сладковатый, с тмином. Такого вкусного хлеба Костя, казалось, не ел никогда в жизни...

Но тут он вспомнил, что их трое. Костя оторвал буханку от своего рта и повернулся. Иван Степанович и Милан не спали. Они видели все.

— Кушайте вдвоем, я не буду, — сказал Иван Степанович.

— Я тоже, — послышалось из угла.

Косте стало стыдно. Он один — слабая душа — соблазнился вражеским хлебом!

Костя встал, решительно шагнул в темноту и споткнулся о ноги в ботинках с гвоздями.

— Забери! — с ненавистью сказал он и положил буханку парню на колени.

— Только с места согнал, гад, — проворчал он, укладываясь. — А ты молодец, старик. Правильно.

Но Иван Степанович ничего не ответил. Мысли его были сейчас далеко — он готовился к смерти.

«Старик» понял, что умирает, еще до того, как немцы прочли ему свой глупый, ханжеский приговор. Примерно на пятый или шестой день побоев он вдруг почувствовал, что в нем что-то оборвалось. Словно та пружина, которая держала его все эти годы, сломалась, лопнула. И какой-то внутренний голос, который его никогда не обманывал, сказал ему: все, Иван Степанович, твоя песня спета.

Вот потому, чтобы не оттягивать неизбежное, Иван Степанович отказался от хлеба. Но говорить об этом вслух он не имел права...

И все же смерть начала не с него.

Первым умер Милан. Остаток ночи серб пролежал молча, завернувшись с головой в шинель. Под утро он стал дышать громче, чем обычно, и вдруг, быстро сорвав с себя шинель, захрапел и вытянулся.

Иван Степанович попытался повернуть голову. Он увидел кончик носа, задранный кверху, к окну, и блеск остановившихся глаз.

Когда за Миланом пришли тюремные санитары, долговязый тоже проснулся. Он бросился было помочь немцам и Косте уложить труп на носилки, но в этот момент его вызвали в гестапо.

Труп унесли, и друзья остались в камере вдвоем.

— Вот и все, — сказал Иван Степанович. — Вот и все.

Косте снова стало грустно, так грустно, что он чуть не заплакал. Но тут он вспомнил о сигарете, которую дал ему один из санитаров, и, достав кресало, принялся высекать искру.

Он жадно вдохнул в себя папиросный дым, и ему стало легче. После нескольких затяжек он был как пьяный...

Вдруг в камеру ворвался свет.

— Ферфлюхтер хунд!*

Что-то упало, и дверь снова захлопнулась. Костя быстро вскочил, протер глаза.

На полу, раскинув ноги и руки, лежал долговязый.

— Что с ним? — спросил Иван Степанович.

Костя подошел к парню. Тот лежал без движения и чуть слышно стонал. Белые волосы на затылке были мокрыми и топорщились, как перья у курицы. Измятая «тодтовка» валялась в ногах — по-видимому, ее швырнули вслед за хозяином.

Костя взял долговязого за голову и повернул лицом к свету.

На этот раз гестаповцы постарались. Под правым глазом у парня темнел свежий синяк, губы были разбиты в кровь, через весь

* Проклятая собака (нем.)

лоб, от виска до виска, багровела и сочилась царапина.

Парень открыл левый, здоровый, глаз и попросил пить. Костя молча дал ему воды.

Долговязый, по-видимому, сильно страдал от боли. Он крутил головой, что-то бормоча себе под нос, ощупывая дрожащими руками ноги, с трудом достал из кармана маленький носовой платочек и, намочив его в воде, приложил к синяку под глазом...

И Костя почувствовал сострадание к этому большому, но несчастному человеку. Может быть, они зря подозревают его?

Но едва Костя подумал об этом, как немец схватил его за грудь и с неожиданной силой притянул к себе.

— Товарищ! — быстро и гневно заговорил он. — Им капут. Красная Армия близко, фронт цванциг километр...

Он четырежды растопырил пальцы и снова сжал в кулак.

— Я их тоже бил. Пусть знал, я не боюсь.

Нахмурив свои белые брови, он испытующе взглянул на Костю, потом на глазок в двери и зашептал:

— Ты и твой друг хороший люди. Я сразу понял. Я хочу вам помочь. У вас есть в Сувалках знакомые?

Не дожидаясь ответа, он потянулся в свой угол и достал откуда-то бумагу и огрызок карандаша.

— Пиши записку, мой панёнка передаст.

Костя встал. Так вот что значит весь этот маскарад! Гестаповцы избили фламинго, чтобы придать ему более натуральный вид...

Костя с нескрываемым презрением посмотрел на долговязого, который продолжал сидеть на полу, протягивая к нему карандаш и бумагу.

— Я неграмотный, — сказал он, скаля зубы. — В детстве ручку потерял, понял? А знакомые у меня все здесь, под боком.

И он вернулся на место.

Иван Степанович согласился с Костей: теперь, пожалуй, можно не сомневаться, что этот парень подослан. Но настойчивость гестапо их уже не пугала, а казалась смешной.

И все же они решили держаться от долговязого подальше.

...К вечеру Иван Степанович почувствовал холод, необычный для ранней осени. «Старик» весь дрожал. Его не могли согреть ни мундир Милана, в который Костя завернул его ноги, ни вторая шинель... Иван Степанович с трудом нащупал пульс. Тоненькая жилка билась чуть слышно, но часто: не меньше 120 ударов в минуту.

«Старик» понял, что заболел сыпняком.

Костя не обратил внимания на предостережения «старика». Он не боится никакого тифа, вшей ему не занимать, а хуже смерти все равно ничего не будет.

Набив пилотку соломой, Костя встал, чтобы заткнуть окно. Это можно было сделать, подпрыгнув и ухватившись одной рукой за край ниши.

Костя несколько раз срывался — у него ослабли руки, но все-таки, наконец, добился своего. Теперь ветер уже не дул в камеру.

Но и это не помогло «старику». Иван Степанович дрожал по-прежнему, даже еще сильнее. Лицо его горело, как в огне, а зубы стучали от холода.

Вдруг Косте пришла в голову мысль, которая невольно развеселила его. А что если сделать из фламинго грелку? Пусть этот упитанный битюг отдаст «старику» часть своего тепла!

Костя нащупал в темноте плечо долговязого.

— Эй ты, проснись...

— Я не сплю, — послышался шепот. — Что хочешь, товарищ?

— «Старик» у меня замерз. Иди, ляг с ним рядом, у стенки...

Долговязый зашевелился, охнул и начал подниматься.

Он с готовностью лег на место Милана и даже расстегнул свой ватник, чтобы между его телом и телом больного соседа было меньше прокладок. Укрылись все трое одной шинелью: так лучше сохранялось тепло...

Вскоре Косте показалось, что «старику» легче. Он перестал стучать зубами, да и дыхание его немного выровнялось. Правда, ноги и руки его по-прежнему были холодными, как лед, и дрожали, но опасность, по-видимому, уже миновала...

Костя задремал. Очнувшись, снова прислушался. «Старик» дышал почти нормально и—мало того—спал. Костя почувствовал к долговязому нечто вроде благодарности. Глупый все-таки парень: что его заставило пойти во фламинго? Наверно, жадность — немцы за это хорошо платят. Но он так и уйдет отсюда с побитой мордой, не солоно хлебавши...

Иван Степанович следил за действиями

Кости с нежностью—так самоотверженно не могла бы ухаживать за ним даже жена. Но когда Костя притащил к нему под бок этого тодтовца, Иван Степанович недовольно поморщился. Не хватало, чтобы его согревал человек, которого он, Иван Степанович, должен ненавидеть.

Эта мысль утомила его. Он закрыл глаза и начал погружаться в какое-то розовое марево. Он опускался все ниже и ниже. Казалось, там, внизу, была бесконечность...

Но вот падение прекратилось. Иван Степанович лежал уже на земле, в высокой, прохладной траве между двумя деревьями и смотрел в синее небо. Остатки облака уплывали, как папиросный дым...

В груди растекалось блаженство. Какое высокое, чистое небо! Это — свобода. Кто-то идет: это друг. Теперь — все друзья и товарищи. Здравствуй, человек! Мне не надо знать твоего имени. Я угадал — это ты. У тебя бронзовое лицо борца и седина, говорящая о пережитых опасностях. Когда-то я искал тебя. Это было давно. Меня послал к тебе доктор Марек. Помнишь: Белостокское шоссе, Ремонтный склад. «Вы не знаете какого-нибудь хорошего доктора». Смешно! А ты: «Знаю, но он...»

Костя, забыв о том, что у «старика» сломаны ребра, навалился на него, зажимая ладонью рот. Он лежал на нем до тех пор, пока не почувствовал, что еще мгновение, и «старик» задохнется. Тогда он отдернул руку...

«Старик» больше не бредил. Но было уже поздно! Долговязый слышал все. Костя понял это, увидев, как жадно и торжествующе блестят в темноте его глаза.

Костя подбежал к окну и выдернул из ниши пилотку с соломой. В камеру проник свет начинающегося дня.

Теперь никаких сомнений не было. Долговязый, приподнявшись на локте, смотрел «старику» в рот, и его широкая, белобрысая помятая физиономия сияла.

Костю охватил ужас. Долговязый дождался своего! Тайна, которую они с таким упорством оберегали, ради которой перетерпели все пытки и пошли на смерть, стала достоянием врага.

Костя полез в карман и нащупал кресало. Сжимая железку в кулаке, он сделал шаг по направлению к долговязому. Сейчас он убьет его. Только бы попасть в висок. Ну, повернись же, вот так...

Костя сделал еще шаг, еще. Долговязый смотрел на «старика», и Костя видел его затылок, белые волосы, торчащие из-под шапки, маленькое розовое ухо. Костино тело свернулось в пружину, готовое к страшному удару.

Но в этот момент дверь в камеру отворилась. «Встать!» — заорал солдат в каске, с автоматом наперевес, и пропустил вперед незнакомого офицера-гестаповца.

Офицер пристально посмотрел на долговязого, который быстро поднялся и начал застегивать ватник, затем что-то негромко спросил его. Долговязый кивнул головой. Офицер снова спросил, и долговязый снова кивнул.

— Комт мит!*

У двери офицер остановился и, смерив глазами Костю, который стоял, бессильно прислонясь к стене, крикнул:

— Раус!**

В коридоре Костю подхватил солдат, он уперся автоматом ему в спину и, не давая опомниться, гнал до тех пор, пока Костя не очутился в тюремном дворе. Здесь ему сунули в руку лопату и заставили рыть яму.

Вместе с ним копали еще двое заключенных — худой мужчина с длинным носом на красном морщинистом лице и подросток лет шестнадцати плутоватого вида. Они украдкой переговаривались друг с другом по-польски и поглядывали за проволоку, где в отдалении стояла какая-то молодая женщина с корзинкой в руке.

Было прохладное, безветренное утро. Трава на пустыре уже почти вся пожелтела, но это еще ярче оттеняло синеву неба, с которого струился на землю, на домики и деревья яркий слепящий свет. Воздух, прозрачный и чистый, звенел, как хрусталь...

Костя прислушался: где-то мягко ухало, словно били кулаком по подушке. И догадался: это — фронт!

Теперь ему безумно хотелось жить. Жить, жить! Дышать этим воздухом, ходить по этой траве! Его буквально обуяла жажда жизни. Он завидовал всем: червяку, соскользнувшему с лопаты, птичке, мирно прыгающей на краю ямы, даже немцу-солдату, который стоял над ним и, беспокойно озираясь, курил сигарету. Неужели его сейчас расстреляют, и он больше никогда, ничего не увидит?

Вдруг до него донесся крик — это закричала женщина с корзинкой. Солдат поспеш-

* Пойдем со мной (нем.).
** Выходи, вон (нем.).

но выбросил сигарету и выпрямился. Поляки полезли из ямы, и Костя полез вслед за ними.

То, что он увидел, поразило его. К яме в сопровождении офицера-гестаповца шел долговязый. У него было другое лицо—бледное и взволнованное.

На краю ямы он остановился и, махнув рукой женщине, повернулся лицом к офицеру. Рядом с офицером уже стоял солдат и проверял свой автомат.

Офицер строго посмотрел на поляков и Костю и сделал знак, чтобы они отошли дальше. Солдат начал прицеливаться.

Но это было еще не все. Гестаповец был по-видимому человеком бережливым — он остановил солдата и приказал долговязому снять с себя одежду.

Долговязый, усмехнувшись, начал раздеваться. Он снял «тодтовку», ватник, штаны и пиджак и аккуратно сложил все это на краю ямы. Потом, подумав, стал расстегивать рубаху.

Костя увидел на его груди крестообразный шрам и побледнел. Солдат поднял автомат. Долговязый прощально кивнул Косте.

— Что ты делаешь? — рванулся Костя к немцу. — Что делаешь, гад!..

Удар прикладом оглушил его. Когда он очнулся, все было кончено.

...Костя вошел в камеру, шатаясь как пьяный. Он подошел к Ивану Степановичу и опустился на колени.

— Ты слышал, старик? — спросил он, не глядя, — Петрушу расстреляли.

Иван Степанович молчал.

— Не слышал?..

Костя вдруг крикнул:

— Это же был он, он, который ждал нас... «Вы не знаете какого-нибудь хорошего доктора?»

Костя заплакал и упал.

А Иван Степанович облегченно вздохнул и снова начал погружаться в теплое марево — на этот раз навсегда.

ДОКТОР РУБЛЕВ

Грохоча промчался поезд, мелькнуло в одном из вагонов милое лицо... Надя!

Степан Трофимович заскрипел зубами и проснулся. Сердце его учащенно билось. «Немедленно догнать, — решал он, вглядываясь в темноту. — Пойти к начальнику станции, попросить дрезину...»

Но тут грохот повторился и вернул его к действительности. Все это — родина, жена, поезд — было во сне. А он, доктор Рублев, находился по-прежнему в Германии, в лагере военнопленных, в своей комнатушке, дверь которой сотрясалась от ударов.

Койка застонала под могучим телом Рублева.

— Кто там? — недовольно крикнул он.

— Открывай, доктор!—послышался сиплый, простуженный голос. — Полиция.

Степан Трофимович вздрогнул. В мозгу, как сигнальные лампочки, замигали тревожные мысли: «Догадались о Шамове? Или поймали кого-нибудь из прежних? Неужели выдали!»

Доктор оглянулся: окно снаружи закрыто ставней, бежать нельзя. Да и разве скроешься в лагере. Надо взять себя в руки!

— Какого черта ходите по ночам, — добродушно заворчал он, открывая дверь. — Спать не даете...

Степан Трофимович умолк. Перед ним стояла толпа — весь «цвет» лагерной полиции. Полицаи были с фонарями в руках, некоторые опирались на шашки. Их длинные, клеенчатые плащи с капюшонами блестели от дождя, по мрачным, озабоченным лицам текла вода.

— Не шуми, — строго, но беззлобно сказал маленький, черномазый полицай по прозвищу Цыганок и показал на свое забинтованное горло. — Я сам с постели. Нас за тобой Либель послал.

— Что ему надо?

— Шеф у нас заболел. Зосима Григорьевич.

Рублев облегченно вздохнул: «Пронесло». Цыганок засопел, приблизил к нему фонарь. Остальные полицаи сделали то же самое.

Доктор — огромный, с шапкой спутанных кудрявых волос, в одном нижнем белье, стоял под дождем, скрестив на груди руки, и улыбался.

— И вы испугались? — презрительно сказал он. — Наверно, какой-нибудь пустяк. Знаю я вашего Либеля.

Доктор сдернул с крюка шинель, сунул ноги в сапоги.

— Пошли!

В бараке, именуемом «операционной», Рублева встретил взволнованный Либель, пожилой австриец, толстяк с бабьим лицом. Занимая должность врача при немецкой караульной роте, он обязан был также лечить коекого из пленных: начальника полиции, главного переводчика... Так распорядился сам комендант.

— Очень хорошо, что вы пришли, зер гут, — лопотал он, путая русские и немецкие слова. — Я хочу иметь с вами маленький консультацион.

Он помог Рублеву надеть халат и подвел его к носилкам, на которых, под шинелью, вздымалась стонущая живая гора. Это и был шеф полиции Зосима Григорьевич, или, как его тайно называли пленные, Зоська Рыжий. Он лежал на спине, запрокинув на вышитую домашнюю подушку большую, пылающую жаром голову, и мычал. Его огненно-красная шевелюра слиплась от пота, глаза, и без того маленькие и мутные, совсем ушли под лоб, толстая нижняя губа отвисла, обнажив стиснутые намертво, все в золотых коронках зубы. Странно было видеть этого жестокого, наводившего даже на немцев ужас своей дикой, звериной силой полицая таким страдающим и жалким.

— Что же это ты оплошал? — весело спросил Рублев и, сняв с «шефа» шинель, начал ощупывать ему живот.

Живот был огромный, вспухший. Пальцы доктора, утопая в белом, поросшем рыжими волосами теле, повсюду наталкивались на дрожащие, напряженные мышцы.

Рублев выпрямился, отозвал в сторону Либеля и своего напарника — пленного врача Мартыненко, дежурившего в эту ночь в санчасти.

— Дело плохо, — сказал он. — Гнойный перитонит, надо немедленно оперировать.

— Оперировать?

Либель покраснел. Старый детский врач, он боялся сложных операций. А здесь—гнойный перитонит, почти верная смерть. Австриец знал, что комендант лагеря спросит с него за этого полицая не меньше, чем за любого солдата. Назначат вскрытие, обнаружат ошибку... Не дай бог, не дай бог! Тогда не посмотрят ни на возраст, ни на одышку, — отправят на фронт, в самое пекло.

Австриец страдальчески смотрел на Рублева, как бы умоляя о помощи. Может быть, тот сам сделает операцию? А он, Либель, будет ему ассистировать и заодно наблюдать. Но прямо сказать об этом неудобно. Другое дело, если Рублев первый попросит его...

Степан Трофимович сразу догадался, чего хочет от него австриец, и, усмехнувшись, отошел к окну.

Либель посмотрел ему в спину, вздохнул и вернулся к больному.

Теперь Зоська стонал тише, с каким-то прерывистым свистом, и даже полицаи, которые молча толпились у порога, стали снимать шапки, испуганно поглядывая друг на друга. Инстинкт подсказывал им, что из их грозного шефа уходит жизнь.

А Либель тем временем не спеша, тщательно мыл руки, не спеша натягивал перчатки. Потом, покосившись на соседнюю комнату, где сквозь открытую дверь белел в темноте самодельный операционный стол, он снова снял перчатки и, подозвав Мартыненко, начал выкладывать из своего саквояжа блестящие, новенькие инструменты — ножи, зажимы, пинцеты, подробно объясняя врачу назначение каждого из них.

В другое время желчный, самолюбивый Мартыненко ударился бы в амбицию, но сейчас... Сейчас он, с тонкой, едва заметной усмешкой смотрел толстяку прямо в глаза и кивал головой. Оба вели понятную каждому врачу, хотя и не совсем красивую, игру: они ждали агонии, которая должна была наступить у больного с минуты на минуту.

Степан Трофимович продолжал стоять у окна. Он не хотел принимать участия в этой игре своих коллег, но не хотел и оперировать полицая. Он начал вспоминать зверства Зоськи: его набеги на лазарет, избиения санитаров, воровавших у немцев уголь, чтобы обогреть бараки с больными. Доктор вспоминал, как «шеф полиции» угрожал ему самому, обещая устроить облаву в его бараках и выловить всех «подозрительных».

«Черт с ним, — говорил себе Рублев. — Пусть Либель отправит его на тот свет...»

В то же время Степан Трофимович, слыша стоны, чувствовал жалость. За его спиной лежал страдающий человек, больной, который умолял о помощи.

Рублев поймал себя на мысли, что он тоже ждет с нетерпением, когда наступит агония. «Уйду», — решил он. Но, выйдя на улицу и выкурив папиросу, вернулся в операционную.

Либель и Мартыненко продолжали тянуть

время: осматривали больному язык, выслушивали сердце. Они перешли на латынь, вздыхали, важно морщили лбы. На их притворно-участливых лицах были написаны понимание неизбежности смерти, а также полное довольство собой.

Рублев шагнул к ним.

— Бросьте!—тихо, но внятно сказал он.— Бросьте все и несите его на стол.

Он махнул рукой полицаям, и те оживились, кинулись к носилкам.

Когда Зоську раздели и уложили на операционный стол, к Рублеву подошел Цыганок. Придерживая шашку и зловеще щурясь, он прохрипел:

— Смотри, эскулап. Жизнь за жизнь...

— Вон отсюда, вон! — гаркнул на него Рублев.

— Вон! — подхватил Либель и замахал руками. — Раус!

Полицаи, толпясь, вышли из барака.

Либель достал из стерилизатора новенький, блестящий, похожий на ласточкино крыло, нож и протянул его Рублеву.

— Неужели вы хотите спасти этого зверя? — шепнул Мартыненко, завязывая Степану Трофимовичу маску. — Ведь он же почти агонирует...

— Я врач! — ответил Рублев и взялся за нож.

...Через две недели, когда стало ясно, что шеф полиции не только жив, но и здоров, сияющий Либель торжественно вручил Рублеву подарок — новенький скальпель, похожий на крыло ласточки.

— Вы гений, будущий Пирогоф, — произнес толстяк и, подмигнув, добавил шепотом: — Я сказал мой комендант, что операцию делал я, а вы мне... немножко помогал. Хорошо?

Степан Трофимович невесело улыбнулся. Нужна ему эта слава! После той ночи целая группа врачей, возглавляемых Мартыненко, не здоровалась с ним, считая его чуть ли не предателем. И впечатлительный Степан Трофимович наверно мучился бы, переживал, если бы его мысли не были заняты другим, более важным делом.

Он готовился к побегу...

...Через несколько месяцев темной осенней ночью восемь человек, как восемь больших ящериц, ползли между мотками проволоки, прижимаясь к земле. Степан Трофимович полз последним, волоча на себе санитарную сумку.

Часового сняли тихо, без крика. Шамов, отдав одному из товарищей нож, взял себе карабин и повел всех напрямик, через кладбище. Бывший разведчик, майор, он отлично изучил эту местность по карте. Много месяцев скрываясь в лазарете под видом больного, он сумел наладить связи с немецкими коммунистами.

Шамов вел друзей к узкоколейке торфопредприятия, где их должен подобрать машинист паровоза и отвезти за сорок километров, к берегу моря. А там о них позаботятся рыбаки...

Все это Рублев знал и уверял себя, что побег окончится благополучно. Но предчувствие почему-то говорило, что так просто это не кончится. И тишина казалась таинственной, почти зловещей...

Они вошли в лес. Чтобы отвлечься от беспокойных мыслей, Степан Трофимович постарался выключить все чувства, кроме слуха. Но это ему не удавалось. Тогда он начал думать о доме...

Где-то далеко-далеко, как в сказке, окруженный дремучими лесами, спит сейчас его родной городок. Спят мать, детишки, жена Надя... Надя, Наденька! Ворваться бы к тебе, схватить теплую, заспанную на руки, закружить по комнате. Нет, войти тихо, сесть рядом, целовать в закрытые глаза, в детские, доверчивые губы. Пусть тебе снится хороший сон...

Степан Трофимович жадно вдыхал сырой, смолистый воздух. По лицу били сосновые ветви, щеки и лоб горели. Доктор чувствовал, как в теле его разливается жар, точно он выпил спирту. «Закурить бы!» — он потянулся к кисету, но тут же выругал себя за слабость. Нет, о доме думать нельзя. Нельзя!

Они шли легким, упругим шагом, почти вплотную друг к другу. Иногда Шамов останавливался и делал перекличку. «Здесь, здесь», — как беглый огонь летел отрывистый шепот. «Здесь», — говорил доктор, и группа двигалась дальше.

«Все будет хорошо, — уговаривал себя Рублев. — Все будет хорошо...» Всматриваясь в силуэт идущего впереди товарища, он слышал его спокойное, ровное дыхание. «Вот отличное сердце, сердце бойца, — думал он с завистью. — Неужели он не волнуется?»

Степан Трофимович всегда испытывал тревогу за этих смелых, надежных ребят. Ког-

да-то их привезли к нему прямо с фронта— тяжелораненых, почти умирающих. Он заботливо чинил и штопал их, выхаживал, ставил на ноги. А потом, когда они выздоравливали, прятал у себя в бараках, спасая от шахт и концлагерей. Он был их отцом, строгим и грубоватым, а они, невзирая на возраст и звания, его послушными детьми. Но это было там, в лагере. Здесь, в лесу, он чувствовал себя другим — слабым и неуверенным...

Лес постепенно редел. Ветер донес запах воды и водорослей — по-видимому, приближались к реке. Тропинка стала грязной и скользкой. А вскоре послышался слабый плеск...

Шамов приказал снять сапоги. По шаткому мостику прошли бесшумно, промелькнули, словно тени, так, что не скрипнула ни одна доска.

Когда они были на другом берегу, в кустарнике, кто-то проворчал, обуваясь: «Чаю бы сейчас с малиной». У Рублева снова защемило в груди. «Ну, что, командир, — прошептал он, догнав Шамова. — Скоро будем дома?»

Шамов молчал. Пощипывая ус, он всматривался в темноту. В его узких, монгольских глазах доктор увидел беспокойный блеск. За кустами начиналось торфяное поле, по которому — шагах в двухстах отсюда — проходила узкоколейка. Но паровоза там не было.

Беглецы молча подошли к насыпи, все, как один, легли на рельсы и стали слушать. Теперь никто не оглядывался назад, все думали только о том, где машинист. Не может быть, чтобы этот немец, старый спартаковец, их предал! Люди с надеждой смотрели в черную даль — не мелькнет ли там огонек фары или вылетевшая из трубы искра...

Вдруг кто-то сдержанно вскрикнул:

— Идет.

Люди вскочили и бросились бежать.

Они бежали вдоль насыпи, теснясь и обгоняя друг друга. Степан Трофимович бежал позади всех. Он несколько раз спотыкался, падал, не чувствуя боли, снова вскакивал и бежал, пока, наконец, не увидел желтый глаз паровоза, вынырнувший из-за леса. «Хорошо, все хорошо, — радостно твердил доктор. — Еще немного...»

Он оглянулся и остановился, вдруг увидев другие огни — десятка два-три светлых точек, рассыпанных далеко в стороне. Эти точки, похожие на светлячков, двигались параллельно дороге.

«Погоня!» — догадался доктор. Ему стало страшно. Он бросился догонять товарищей, но столкнулся с Шамовым. Тот уже видел все.

— Ищут в кустах на берегу, — сказал Шамов. Он оглянулся на медленно приближающийся поезд. — Может, успеем проскочить?

Но там, на берегу, точно услышали его. Несколько светящихся точек отделились от остальной массы и стали быстро приближаться к узкоколейке.

Шамов выругался, сорвал с плеча карабин.

— Готовь, доктор, оружие. Погибать, так с музыкой.

Только сейчас, шаря по карманам, Степан Трофимович вспомнил, что не захватил с собой ничего, кроме санитарной сумки. В ней был единственный маленький хирургический нож, и Рублев достал его вместе с чехлом, нерешительно сунул за голенище.

Шамов свистнул, созывая остальных беглецов. Теперь было ясно, что преследователи задержут поезд: огоньки остановились на пути.

Степан Трофимович взглянул на притихших друзей, вернее, на черные силуэты, застывшие в горькой и отчаянной решимости. Если бы не тяжелое сдавленное дыхание, можно было подумать, что эти люди окаменели.

Но они оставались живыми людьми. Сейчас, после жестокой, неравной схватки кто-то из них умрет, а кого-то будут бить, ломать им кости, морить голодом. Тогда уже никто не спасет их...

Степан Трофимович широко расправил грудь и потер руки. Потом, словно ныряя в воду, нагнулся и вырвал из рук Шамова карабин.

— Бегите! — крикнул он. — Бегите к поезду, ну!

И пропал в темноте.

Вскоре раздался выстрел, послышались взволнованные, хриплые голоса. Огоньки рванулись с места и начали быстро удаляться от линии в глубину поля.

...Степан Трофимович бежал по мягкому, пружинистому грунту, изредка оборачиваясь и стреляя наугад. А когда патроны кончились, он размахнулся и далеко швырнул карабин.

Мысль доктора работала удивительно четко. Он уводил погоню все дальше и дальше от дороги. Его преследователи, в большинст-

ве старики из резерва, отстали на добрые полкилометра. Они кричали страшными, натужными голосами и беспорядочно стреляли. Только один из преследователей, по-видимому, дюжий детина, вырвался намного вперед и теперь шел по пятам, жужжа фонарем и тяжело дыша.

Степан Трофимович с разбега влетел в кусты, перевернулся и упал в воду. Он тут же вскочил — речушка была ему по колено, хотел бежать дальше, но из темноты выдвинулась массивная фигура и сверкнул клинок. Кто-то жарко выдыхнул в лицо вместе с перегаром самогонки и лука:

— Стой!

Мясистая, поросшая волосом рука поднесла к носу Рублева фонарь. Доктор, весь мокрый, стоял неподвижно. Он изумленно, но без страха, смотрел на преследователя: перед ним был Зоська, его пациент.

— Ты... эскулап? — пробормотал шеф полиции и, словно не веря, придвинул свое потное лицо к лицу Степана Трофимовича.

— Здравствуй, Зосима Григорьевич, — доктор насмешливо посмотрел на занесенную шашку. — Не бойся, не убегу.

— А я не боюсь... — мрачно ответил Зоська, но шашку не опустил.

Полицай прислушивался: немцы, судя по крикам, были еще далеко. Степан Трофимович уловил его взгляд — бегающий, немного растерянный.

В груди доктора колыхнулась надежда.

— Я не убегу, — повторил он. Голос его дрогнул и зазвенел: — Ты сам меня отпустишь! Ведь ты же русский человек, у нас одна кровь, одна земля.

Зоська, насупившись, молчал, избегая смотреть доктору в глаза. Но шашку не опускал.

Тогда Степан Трофимович сделал шаг назад... еще один... еще. Потом повернулся и побежал по воде к противоположному берегу.

Он уже выбирался на берег, когда Зоська снова догнал его.

— Стой, — захрипел он, наваливаясь на доктора всем телом. — Ты свой долг сполнял... я тоже спол...

И не договорив, вскрикнул и, слабея, пополз вниз, в воду.

...Когда доктора Рублева, избитого и исцарапанного, со связанными руками, двое солдат подняли с земли и поставили перед офицером, где-то, на том берегу, послышался далекий гудок уходящего паровоза.

— Кто убил часового? — крикнул офицер.

— Я.

— Значит, вы бежали один?

— Один!

— Хорошо, проверим. Марш.

Все двинулись к лагерю. Впереди на шинели несли мертвого шефа полиции, за ним — «вещественные доказательства»: винтовку, санитарную сумку и хирургический нож, похожий на крыло ласточки. Доктор шел, окруженный взводом солдат, большой, тяжелый, на голову выше всех. Он шел, прихрамывая, в мокрой окровавленной гимнастерке с оторванным воротом.

Немцы суетились вокруг него, кричали, подталкивали штыками, а он молчал и улыбался.

Теперь он был совершенно спокоен.

Петр Журавлев

У ОБРЫВА

Рассказ

I.

На курганистые поля, истоптанные вдоль и поперек копытами коней, исполосованные колесами тачанок, легла ночь...

В тусклом свете луны тепло и сонно поблескивает река. По одну сторону ее — густая опушь прибрежных ветел и ив, по другую — чернеет село.

Улица пуста. Только изредка из конца в конец села движутся темные фигуры людей, бряцая оружием. Порой доносится из конюшен тихое конское ржанье.

В доме лавочника Спиридона Батеева, за столом, сидит офицер. Его редеющие, плоско и масляно приглаженные волосы отсвечивают под лампой, золотые погоны блестят.

Припав на раненую ногу, перед офицером стоит молодой коренастый человек в пиджаке и сапогах. Рубашка на нем разорвана, на широкой груди видна полосатая тельняшка. По крутому упрямому подбородку течет кровь.

— Так и не скажешь: кто ты, откуда? — мягко спрашивает офицер.

Человек в тельняшке смотрит не в лицо ему, а на его руку. Рука эта узкая, худая. Бледные искривленные пальцы нервно подрагивают, тогда как фигура и лицо офицера совершенно спокойны. Но глядя на эту руку с подрагивающими пальцами, человек в тельняшке не верит ни вкрадчивой терпеливой ласковости офицера, ни его спокойствию.

Он поднимает большие голубые глаза и смотрит поверх лоснящейся головы офицера.

— Я ж сказал... Лошадь сбежала — ищу...

— А это у тебя зачем? — офицер холодным взглядом указывает на лежащий на столе наган с вынутыми патронами.

В ответ — ни слова.

— Почему тебе в казаков понадобилось стрелять, когда тебя остановить хотели?

Сжимая крепкие челюсти, человек в тельняшке продолжает молчать, только еще устойчивее переступает на ногу.

— Разведчик? Матрос? Говори! — голос у офицера неожиданно взрывается.

Собственно, офицеру и так все ясно, да он и понимает, что вопросы его бесполезны: такая уж это дурацкая порода людей... Босяки! Понабивали большевистскими идеями головы. А что смогут сделать? Правда, их фанатическое упорство и храбрость по справедливости должны заслуживать уважения, а этот — с умным и волевым лицом истого славянина — пожалуй, даже симпатичен. Но... не переубеждать же его... Да и бесполезно. Враг есть враг.

— Конвойный, — говорит офицер коротко. — Утром — в расход.

Толкая прикладом, арестованного выводят. На пороге он сталкивается с высоким грузным красноармейцем в распахнутой и измызганной шинели, сопровождаемым двумя дюжими казаками.

II.

Человек, которого должны были пустить «в расход», был действительно разведчик, матросов, по фамилии Максимов. Всего два часа назад, как только стемнело, он простился на берегу с провожавшими его товарищами из отряда и, вплавь, толкая перед собой корягу, перебрался через реку. К селу он шел осторожно, балочками и буераками, держась подальше от дороги и прячась за каждый кустик, сливаясь с тенями и сам похожий на тень. Местность ему была знакома: еще до того, как идти на службу, он года два батрачил в этом селе, и потому все вызывало у Максимова горькие и вместе с тем приятные воспоминания. Перемахнув через плетень, — при этом он едва оперся о верх плетня рукой, — Максимов задами, по картофельной ботве и конопле добрался до дворов со свисающими прелыми соломенными крышами. Он вышел к дому знакомого мужика, который еще с тех пор, как пришел на деревяшке с японской войны, жил бобылем и которому можно было довериться. Как бывалый солдат, тот знающе рассказал Максимову, много ли казаков в селе, где у них штаб, сколько пулеметов и в каких местах они сто-

ят. Максимову оставалось лишь благополучно выбраться из села, но у околицы он наткнулся на дозор.

И вот теперь не позже утра он должен умереть.

Прихрамывая на раненую ногу, Максимов спускается со ступенек крыльца. Село спит. Луна стоит высоко в серебристо-синем, поночному светлом небе, и от домов и ветел лежат короткие четкие тени. Видна каждая соринка под ногами. Ночь полна мягкой духоты, покоя, сонного томления. На минуту вся припоздалая людская канитель кажется Максимову лишней, ненужной. Да, теперь лечь бы, поспать...

— Ну-ну, иди, чего задумался! — кричит конвойный и опять нацеливает Максимову в спину приклад.

Конвойный — мрачный, бородатый, в папахе, казак, должно быть, очень исполнительный, и потому сам любит покомандовать.

— Эй, Лука, закурить нету? — окликают его двое казаков-патрульных.

Конвойный приказывает Максимову остановиться, достает из кармана горсть махры. Чиркает спичка. Запах табачного дыма приятно мешается с ночным запахом отсыревших трав.

— Дайте закурить, — хочется попросить и Максимову, но он сдерживается.

— Краснюк? — спрашивает один из казаков с белым от луны лицом, глядя прищуренными глазами на Максимова.

— Краснюк, — сердито отвечает конвойный и закашливается.

— Куда ж его?

— А известно...

Они говорят о Максимове, как будто Максимова рядом нет.

— Что, карчинские, не слыхать, скоро будут?

— Говорят, из Лысухи вышли.

«Это надо запомнить», — мелькает в голове у Максимова, но он тут же думает, что это теперь уже не может иметь для него никакой цены, так как передать он не сможет.

— Уши-то не развешивай... Пошли!

Конвойный ведет Максимова через двор к сараю. Двор широкий, весь белый под луной. Из конюшен слышится тяжелое дыхание скотины. Шаги отдаются глухо. Посредине двора, будто отчеркнута тушью по линейке, — тень от колодца с бадьей и досчатой колоды, узкой и длинной. Колода похожа на открытый гроб. Завтра работник Батеева выпустит скотину, и она, толпясь и лениво помахивая хвостами, подойдет сюда пить, а его, Максимова, не будет...

— Заходи, переваляешься ночь. Да не вздумай бежать. Услышу шорох или что — зараз срежу!

Дверь за Максимовым закрывается, и он остается один. В сарае темно. Только между рассохшимися досками двери падают узенькие полоски лунного света. Взглянув в щель, Максимов видит: конвойный в трех шагах от двери усаживается на сено в сброшенной с передков телеге.

— Еще раз говорю: услышу — пули не пожалею.

Максимов не отвечает.

За шесть лет войны он много раз видел, как умирают люди, но до сих пор не верил, что это же может когда-нибудь случиться и с ним. Максимов вообще как-то не верил в возможность своей смерти. Когда брали Зимний, — приходилось сталкиваться с юнкерами в упор, — обошлось без единой царапины. С горсточкой товарищей был окружен колчаковцами в таежном селе — вышел невредимым. Голодный, почти безоружный защищал Царицын — ни пуля, ни осколок снаряда не тронули. Неужто теперь, почти дома, на задворках, удача изменит?

«А ведь меня ждут, — думает Максимов об отряде. — Нет, надо обязательно как-то выбраться...»

— Слушай, казак... Мы одни... Будь человеком... Отпусти... Дело не в моей жизни... Но это нужно.... — хочется сказать Максимову. И он, пожалуй, готов был бы умолять, если б знал, что из этого что-то выйдет. Но Максимову заранее ясно, что от казака сочувствия не дождешься.

Еще раз Максимов заглядывает в щель: казак притих на сене и как будто дремлет. Только трубка у него в зубах краснеет едва заметным огоньком.

Максимов отходит к задней стене и, приникнув там, в углу, осторожно и быстро начинает рыть руками землю. Руки у него дрожат. Но постепенно волнение улегается, и он продолжает работать спокойнее. Сверху земля навозная, перепревшая, рыхлая, но чем глубже, тем она тверже. Максимов пробует пошарить в темноте, нет ли какой щепки на полу, не воткнута ли в стену железка какая-нибудь. Ничего нет! Тогда он принимается за рытье снова. Кончики пальцев у него стираются до крови, руки обессиленно деревенеют,

но Максимов не чувствует ни устали, ни боли. Только бы успеть!

— Еще какого черта?!.. — раздается сзади голос.

В одну секунду Максимов весь покрывается холодным потом, будто его окатывают из ведра. Он судорожно припадает на выкопанную землю и заслоняет яму своим телом.

Гремит задвижка. В квадрате лунного света встает грузная фигура красноармейца в распахнутой шинели, которого, Максимов видел, вводили к офицеру. Сильные грубые руки вталкивают красноармейца в сарай, и он падает.

— Сволочи! — когда дверь закрывается, говорит красноармеец, поднимаясь и вытирая руки о полы шинели. — Право, сволочи!

Максимов не отзывается: он еще не может прийти в себя. «Да ведь это ж — свой. Поможет...»

— Били, наверное? — спрашивает Максимов.

— Меня ударь, сам сдачу дам. Не разобрали, кто я; рады, что винтовки у них в руках. Издеваются!

Возмущение красноармейца понятно Максимову, и он вполне разделяет его.

— Как зовут-то? Прокофий? Ну так вот что, Прокофий. Вежливости от них нам не ждать... Поди-ка сюда, — голос Максимова переходит на шепот. — Помогай.

И он опять склоняется над ямой.

Тот подходит ближе, останавливается, расставив огромные ноги, и нагибается над Максимовым, сбычив толстую воловью шею.

— Ге! Что ты делаешь?!

Максимов оторопело съеживается от его крика.

— Брось! Брось сейчас же! — продолжает греметь Прокофий, будто катает пустую бочку, и тут же торопливо и споро принимается заваливать ногой вырытую Максимовым яму.

— Ты с ума сошел? Ведь завтра же нас расстреляют!

— Меня не расстреляют. Брось! А то часового кликну.

Этого Максимов не ожидал. В миг ему становится все ясно. — А! Перебежчик! Предатель!

Максимов сбивает Прокофия с ног и старается ухватить его за горло. Но тот, большой и толстый, как боров, пыхтя, выворачивается из-под Максимова и подминает его под себя. Максимов чувствует, что противника не одолеть. Напрягши последние силы, так что в раненой ноге появляется стреляющая боль, он отталкивает Прокофия к стене.

— Не подходи, собака!

— И ты копать не смей! Не хочу, чтоб из-за тебя меня расшлепали.

— Эй, вы, там! — слышится из-за двери.— А то сейчас усмирю...

Оба невольно замолкают.

Один против другого сидят они по разным углам. Лунные полоски на земле едва заметно передвигаются — неумолимо приближается утро. За дверью изредка слышится покашливание казаков, часового, покуривающего трубку. Из домика-штаба доносятся пьяные голоса. Ночь тепла и тиха. Соловей — предвестник зари — одиноко защелкал где-то поблизости в саду. А они сидят и молчат, зорко следя друг за другом — только глаза поблескивают в темноте.

«Неужто так и ждать, когда придут и придушат, как цыпленка, — думает Максимов; отчаяние и злоба охватывают его. — И все через эту мразь! Путается под ногами... — Максимову ясно, что пока Прокофий жив, он не позволит бежать. — Сколько настоящих людей могут завтра из-за него ненужную смерть получить! А он — спокоен!» — и Максимову хочется хоть чем-то досадить Прокофию, задеть его совесть.

— Что, иуда, за много мировую революцию продал? — цедит Максимов сквозь зубы.

Из угла — нехотя, равнодушно:

— Сдалась мне твоя революция, да и ты вместе с ней. Мне бы до дома лишь...

— Видно, дома у тебя мельница своя, лошадей десяток...

— Да уж что есть, делить ни с кем не собираюсь.

— Ясное дело, ты — кулак!

— Не кулак, а хороший хозяин.

— Знаем мы этих хороших... Из бедных людей кровь пить. Все равно всех вас подведем к ногтю!

— Ха-ха, подвел такой-то. Завтра будешь носом в мусорной куче лежать.

— Пусть не я — другие за меня это сделают. А ты не надейся, что тебя завтра помилуют. Иначе б сюда не бросили...

— Меня по ошибке. Я ценные сведения дал. Завтра у господина офицера будет время, разберется и отпустит. Да еще пожалуюсь ему...

— Как же! Он тебя защитит! Ему сведения нужны, а не ты! Офицер-то, он не дурак! Если ж ему и нужен кто, то не такой, чтоб

нашим и вашим... В таких они не нуждаются.

Прокофий тяжело сопит носом.

— Я добровольно перешел. Они должны отпустить меня. По закону.

— Отпустят завтра вместе со мной в могилевскую губернию, ищи там закон.

— Ну, это еще посмотрим!

— Увидим!

Они замолкают опять. Слышны вздохи скотины за стеной, да соловьи — теперь уже не один, а несколько — пробуют голоса в саду. Прокофий в углу беспокойно возится.

«Проняло, — догадывается Максимов. — О смерти задумался...»

Сам Максимов тоже думает о смерти; вернее, все мысли его направлены на то, чтобы не думать о ней. Ведь сколько ни приучай себя к мысли умереть, — он знает: ему никогда не перестанет хотеться жить. Поэтому о смерти лучше не думать вовсе. А когда подойдет последний миг, надо, очертя голову, броситься в ее бездонный черный омут — и дело с концом!

— Мы опять к тебе, Лука, — слышится за дверью, и по голосам Максимов узнает, что это казаки-патрульные.

— А офицеры, видать, еще не ложились?

— Ни, они гуляют.

— Вот бы затесаться к ним.

— Попробуй, может, пустят.

Казаки смеются. Вспыхивает огонек, в воздухе разливается терпкий дымок самосада. Максимов подходит к двери и жадно, по-рыбьи, ловит и втягивает его ноздрями.

III.

Вот и рассвет. Максимова и Прокофия выводят из сарая. Поеживаясь от предутренней прохлады, а может, оттого, что томит ожидание страшного, Прокофий не попадает зубом на зуб. Он понимает, зачем их вывели. Лицо его за час похудело, мешкасто-пустые щеки трясутся.

— Господин офицер! Господин офицер! Я не утаил ничего. Пожалейте... Отпустите!

Грузным большим телом Прокофий падает на колени. Максимову омерзительно на него смотреть. Сам он бледен, но спокоен.

— А ну, поднимись! К черту! — пьяно кричит офицер. — Конвойный! Веди их!

Казак боится, кабы гнев офицера не переметнулся на него. Он бьет прикладом винтовки Прокофия; тот вскакивает с неожиданной быстротой, бросается в сторону, чуть не сшибает с ног Максимова, отдавливает ему раненую ногу.

— Тише, черт, — стонет Максимов, и в больших голубых глазах его вспыхивает злоба.

— Пошел! Пошел! — торопит конвойный.

Пленных выводят со двора. Узенькая стежка сбегает к реке вдоль жердяной ограды, мимо покосившейся бани с замшелой крышей.

Рассвет медлителен и огненно-красен. Контуры прибрежных ветел и ив видны отчетливо. На реке медленно поднимается пар.

Прихрамывая на раненую ногу, Максимов идет первым. Он мало пожил на свете. Но рассвет он видел много раз. В детстве, когда с ребятишками ездил в ночное. И, уже парнем, бродя с ружием по лесам. И на море — осеннем, холодном... И на городских улицах среди баррикад... Но почему ж тогда он не замечал этой красоты? Он чувствовал себя неотделимым от природы, а теперь она была как бы сама по себе, а он сам по себе, и он смотрел на нее последним, прощальным взглядом.

Около обрыва их останавливают. Обрыв высок, внизу вода темнеет глубиной. Противоположный пологий берег реки густо зарос ветлами и ивняком, спускающимся прямо к воде. Там — свои. Там ожидают его прихода. Знали бы они теперь, что с ним!

— Раздевайтесь! — кричит за спиной офицер.

«Сейчас порубят и куски в реку побросают. Казаки — они так...» — думает Максимов.

— Господин офицер... буду служить вам... Пощадите... Господин офицер!

Прокофий опять падает к ногам офицера. Тот брезгливо носком сапога бьет его в лицо. Конвойный казак срывает с Прокофия шинель («Что пропадать добру-то?»). Прокофий не отдает шинели, как будто в этом видит свое спасение от смерти.

— Не надо... пустите! — лепечет он.

Его все-таки заставляют встать. Через четверть минуты с ним все покончено.

— А ты чего ждешь? — кричит офицер на Максимова, вертя у него перед лицом окровавленной шашкой. Нижняя челюсть у офицера прыгает, налившиеся кровью глаза блестят лихорадочно.

Подвинувшись к самому краю обрыва, Максимов торопливо снимает платье. Одного только он боится, что его ударят раньше, чем он успеет раздеться. Раненая нога мешает.

Дрожащими руками, не чувствуя боли, он стягивает сапог, кучей бросает одежду на травянистый берег, остается в одной тельняшке. И — птицей летит с обрыва!

— Стой! Куда? — раздаются в след голоса.

Ветер прошумел у Максимова в ушах, и вслед затем хлопают выстрелы, но Максимов их уже не слышит.

Он плывет под водой вперед. Вода теплая, как всегда по утрам, и Максимов на секунду отмечает это. Сердце у него стучит, как молот... Побег его, конечно, безрассуден. Это только минутная отсрочка от смерти, желание хоть эту минуту побыть свободным. Он знает, что первая же пуля, как только он высунет из воды голову, сразит его. И он стремится отдалить эту минуту. Воздуха в легких уже нет совсем: их так и разрывает. В глазах плывут оранжевые круги. Но руки и ноги продолжают машинально делать свое дело.

Наконец, он выбивается из сил и, сам того не ожидая, всплывает на поверхность. Буль-буль! — ложатся рядом пули. Глотнув широко раскрытым ртом воздуха, он скрывается опять. Круги в глазах пропадают, сознание проясняется. Он удивляется, что еще жив, хотя выстрелов было много. Кажется, стреляли не только ему вслед, но и с другого берега. «Наши!» — думает Максимов радостно.

Ткнувшись головою в корни ивняка, он встает и, цепко хватаясь за прибрежную траву и прутья, волоча раненую ногу, вскарабкивается на берег и исчезает в кустах, алеющих от первых лучей солнца.

Георгий Крылов

ПАМЯТНИК Л. Н. ТОЛСТОМУ

Нет, не на шумной площади, не в сквере,
А здесь, пред крымской горною грядой,
В своей походной форме офицера
Он встал тридцатилетний, молодой.

И вот стоит, готовый к восхожденью,
Среди густых кустарников и трав,
Еще не написавший «Воскресенья»,
«Войны и мира» миру не отдав.

Туда, к вершинам, где лежат туманы,
Прикован пылкий взор его давно.
А он — как предисловие к романам,
Которым стать бессмертьем суждено.

В задумчивом молчанье снова
Я вглядываюсь в строгие черты
Решительного, зоркого Толстого,
Всходящего на горные хребты.

ВЕЧЕР У МОРЯ

Я знаю, где-то дивной лунной сказкой
Проходит вечер, серебром пыля.
А здесь одною темно-синей краской
Закрашены и небо и земля.

И только море — тихое, без ветра, —
Лежит, как влажный, жирный чернозем,
Мерцает на десятки километров
Искристым фосфорическим огнем.

Шеренгами сойдя по скалам к мысу,
Как будто им простор необходим,
Задумчивы, как вечер, кипарисы
Застыли перед зрелищем таким...

На зарубежные темы

В. Садовский

ДЕНЬ КОЛУМБА В ЧИКАГО

Час был не ранний — поезд прибывал почти в девять утра, погода была красивой, как говорил наш гид мистер Джордж, а на улицах Чикаго мы не видели никаких признаков жизни.

С вокзала Пенсильванской железной дороги автобус повез нас к центру города. Проехали добрый десяток кварталов и встретили на своем пути десяток прохожих и столько же машин.

Пусты были улицы Чикаго, закрыты попадавшиеся на пути магазины. Нам объяснили, в чем дело: воскресенье. Притом воскресенье не обычное: 12 октября Америка праздновала День Колумба.

Пока мы размещались в отеле «Конгресс», пока приводили себя в порядок после довольно утомительного ночного путешествия в вагоне, город заметно ожил.

Окрашенные в яркие цвета автомобили мчались потоком к Золотому берегу. На сверкающей глади озера Мичиган мелькали белые крылья косых парусов яхт.

По улицам прогуливались люди. Среди них, мне кажется, многие никогда бы не позволили себе подобной роскоши в будний день. Мы уже видели в Нью-Йорке, как бизнесмены чуть ли не бегом спешат делать деньги. Но сегодня и банки и конторы закрыты, бизнесмену, пожалуй, не плохо полюбоваться городом, которого в сумятице буден он почти и не видит.

Прогуляться по улицам Чикаго приятно. Таких тротуаров, как здесь, не найдешь и в Нью-Йорке: к асфальту добавлен каучук.

По шероховатому коврику шагать очень хорошо, но далеко уходить не следует. Каучуковые панели— привилегия центральной части города, которую именуют Лупом, что соответствует русскому слову— петля. От остального города Луп отделяют река Чикаго, впадающая в озеро Мичиган, и линия удивительной, чисто американской, железной дороги, сохранившейся лишь в Чикаго.

Подземная железная дорога — собвей — повсюду вытеснила элевейтер — воздушную железную дорогу. Только в Чикаго элевейтер не сдал позиций. Его кольцевая линия — петля проходит по самым оживленным улицам. Несколько странно и непривычно нам видеть посредине нарядных авеню и стритов металлические колонны, подпирающие коридор с неплотно прикрытыми дверьми. Железные лестницы прямо с улицы ведут к дверям, за которыми слышится приглушенный шум поездов, несущихся между небом и землей.

Уже в первые часы, проведенные на улице, мы смогли убедиться, что и в октябре чикагцы не обижены солнцем. В полдень припекало сильно. Невольно вспомнилась золотая осень в благодатной Грузии. Перед отъездом нам говорили: Чикаго расположен на одной параллели с Тбилиси. Теперь мы убеждались, как исправно трудится солнце на противоположной стороне сороковых широт. В Вашингтоне нас мучила среднеазиатская жара. В Чикаго же солнце сияло, как в первые осенние дни у нас на Кавказе — ласково, милосердно.

* * *

Компания «Чикаго Грей лайн» предлагает различные маршруты для знакомства с городом. Можно осмотреть музеи и университеты (их в Чикаго три, вместе с иезуитским «вузом», носящим имя Лойолы). Можно побывать в экзотическом Китай-городе, можно завершить знакомство с Чикаго специальным восьмым туром (только для мужчин!), дающим исчерпывающее представление об излюбленных развлечениях в ночное время.

Из нашей программы мы исключили ночные развлечения в Пальмер-хаузе, хотя здесь выступали «прекрасные девушки», как утверждала фирма. У нас не возникло желания знакомиться с ангарами на площадке Чикагского университета — местом рождения первой атомной бомбы. Мы решили посмотреть более гуманное учреждение, чем эти лаборатории. Даже бойни имели преимущество перед университетом, принесшим народам вместо света науки смертоносную вспышку атомного взрыва.

Прежде чем начать знакомство с достопримечательностями Чикаго, захотелось просто посмотреть на залитый солнцем город, прильнувший к огромному озеру.

Полюбоваться панорамой Чикаго оказалось весьма просто. Понадобилось лишь перейти на другую сторону Мичиган-авеню, пройти квартала три, и гостеприимный «Пруденталь» за полдоллара предоставлял возможность обозревать город с высоты 601 фута.

Страховая компания «Пруденталь», сооружая свой небоскреб, руководствовалась, как видно, теми же принципами благоразумия и осторожности, которые она избрала для своего наименования (пруденталь по-английски значит — продиктованный благоразумием). В Нью-Йорке Рокфеллер, состязаясь с Крайслером, построил самое высокое в мире здание «Эмпайр стейт билдинг». В Чикаго такого шага повторять никто не собирался. Но благоразумные акционеры «Пруденталя» решили кое-что перенять у «Эмпайра». Так появились на «Пруденталь билдинге» скоростные лифты, пролетающие за минуту десятки этажей, и обсервационная площадка для обозрения города со стереоскопами-автоматами.

В рекламных листках, выпущенных для посетителей, акционеры страхового общества утверждают, что с «обсервационного дека» в ясный безоблачный день можно увидеть не только Чикаго, но и граничащие с ним места в штатах Иллинойс, Индиана, Мичиган и Висконсин.

Нам с высот «Пруденталя» этого увидеть не посчастливилось, хотя день был отменно ясным и безоблачным. Чикаго, однако, просматривался хорошо. Небольшие красные и зеленые самолеты кружились и опускались вдали на взлетные площадки частного аэродрома за озером. Вертолетам аэродромов не требовалось: они снижались прямо на посадочные площадки, устроенные на крышах высоких зданий отеля «Конрад Хилтон», считающегося самым большим в мире, где имеется одних лишь номеров более 3 200.

Люди с деньгами могли в Чикаго позволить себе многое. Здесь можно было купить для личных нужд и небольшой самолет и... большую шайку гангстеров. Пример тому был у нас перед глазами: величайший отель с бронзовыми вывесками у входов... Конрад Хилтон!.. Вряд ли кому из американцев не известно это имя. Поучительная история превращения скромного кассира нью-йоркской гостиницы «Вальдорф-Астория» Конрада Хилтона в миллионера могла бы найти место и в школьных хрестоматиях. Когда Хилтон завязал прочные связи с крупными чикагскими бандитами и сделал штаб-квартирой преступного мира «удачно» приобретенный отель, к скромному кассиру пришли миллионы. Хилтон превратился теперь в «короля отелей», рассеянных по всем странам вплоть до Стамбула и Западного Берлина.

С чикагскими гангстерами нам повстречаться не довелось. Но о их влиянии на жизнь города напоминал отель-исполин, занявший целый квартал между Вабашем, Мичиган-авеню и Восьмой стрит.

В вестибюле отеля на витрине под стеклом лежали журналы «Тайм» и «Сатерлэй ивнинг пост» с портретами Хилтона. Фасад отеля украшали «звезды и полосы» Соединенных Штатов и не менее огромные белые знамена с изображением пера и красного креста: в «Конрад-Хилтоне» какая-то организация, близкая к Пен-Клубу и Красному Кресту, проводила съезд.

Внешне все выглядело респектабельно, солидно. Но чикагцы знали цену показной благопристойности. Нам рассказывали о других гостях Конрада Хилтона. Свои сборища в этом отеле они проводили без всяких знамен, в обстановке большой секретности. И, конечно, для гостей, умевших отлично управляться с пистолетом и ножом, в ресторане величайшего отеля благодарным хозяином был устроен необычный аттракцион — искусственный каток. На нем сегодня, словно яркая бабочка, порхала юная фигуристка.

* * *

В День Колумба на лужайке около памятника великому генуэзцу многолюдно. Играет духовой оркестр чикагских пожарных. Одетые, несмотря на жару, в черные суконные мундиры бравые парни старательно дуют в трубы, и звуки «Виргинской почты» разносятся по парку.

Художественная самодеятельность у пожарных, как видно, поставлена на должную высоту. Но слушать концерт мы не имели возможности. Нужно побывать еще во многих местах.

День Колумба далеко не для всех был праздничным.

Неподалеку от нашего отеля с самого утра старательно трудятся негры — мойщики окон. Пока отдыхают директора и клерки компании «Северо-Западные воздушные линии», мойщикам нужно вычистить до звездного блеска здание оффиса «Норт-Уэстэрлайнс».

В столь чтимое англо-саксами воскресенье не могут отдыхать и рабочие типографий. После того, как во Флориде вчера отправлена «прямо на Луну» с такой шумихой ракета «Пионер», газетные ротации работают без отдыха. Пока ракета успела подняться вверх на 77 740 миль, крупнейшая газета «Чикаго дейли трибюн» вышла уже тремя изданиями. К шести часам вечера 12 октября появилась в продаже пятидесятидвухстраничная газета, датированная уже завтрашним 13 октября. На этот раз крупная «шапка» на первой странице сообщает о печальной вести, подстать наступающему «несчастливому» числу: «Лунная ракета повернула назад» (фраза допускает и другой перевод: «Лунная ракета показала спину»)...

Обычный рабочий день сегодня на Град-Сентрале, Портуэстерне, Дирборне, Юнионе и на других станциях крупнейшего в Америке Чикагского железнодорожного узла.

Работают и бойни. С ними следует познакомиться, хотя они и не включены в программу знакомства с Чикаго.

Бойни так бойни. Ехать туда поздновато, но кое-что еще можно увидеть, говорит гид. Мы отправляемся в южную часть города.

Позади шумная толчея рынка Максвелл-стрит. Приближаемся к приземистым кирпичным зданиям. Здесь разместились представители фирм, занимающихся покупкой и перепродажей скота. Здесь же славящийся мясными блюдами один из лучших чикагских ресторанов с выразительным названием «Филейная комната» или «Постоялый двор на бойнях».

Привратник в форменной фуражке, присвоенной, очевидно, служащим боен, что-то кричит нам в окошечко будки, потом машет рукой и открывает въезд.

Так вот они, прославленные!..

Невозможно окинуть взглядом исполинское поле «Юнион сток ярдса» с деревянными мостиками и коридорами, тянущимися над неисчислимыми загонами для скота. (Американцы утверждают, что «Юнион сток ярдс» — «Объединенный скотопригонный двор» имеет 13 тысяч загонов и более 800 километров прогонных дорожек для скота с особым настилом).

Большинство стойл сейчас пустует. Кое-где лишь не попавшие на бойню крупные черные коровы и рыжие бычки мирно похрустывают сено. Его охапками подкладывают потемневшими от солнца натруженными руками люди в заношенных рубашках. Мало чем напоминают героев голливудских фильмов эти ковбои, пригнавшие на бойни скот. «Дикий Запад» предстает здесь перед нами не в образе отчаянных сорви-голов на взмыленных лошадях. Мы видим усталые лица людей, знающих тяготы длинных дорог и нелегкий труд скотовода-степняка.

На «Юнион сток ярдс» мы приехали поздно. Гид сказал, что здесь надо быть в часы рассвета, когда совершаются массовые сделки. В полдень же на скотобойнях застанешь лишь неудачников, не сумевших продать скот. Но в спокойной обстановке можно было лучше осмотреться и поговорить.

Наблюдать гигантскую мясорубку в действии, откровенно говоря, никому не захотелось. В памяти еще были живы описания визга и хрипа убиваемых животных, превращаемых на фабриках «Свифт энд компани» и «Амур энд компани» в опломбированные окорока и миллионы консервных банок, заполненных говяжьим и свиным мясом. Со времени второй мировой войны нам запомнились квадратные и круглые коробки с тушенкой и колбасой, приготовленные на мясокомбинатах «Объединенного скотопригонного двора» Чикаго.

И сейчас исполинская фабрика мяса работала полным ходом днем и ночью. Вместе с ней работали и почта, и банк, и радиостанция скотобоен. О количестве забитого скота и выпущенных изделий мы могли судить по опустевшим стойлам и вереницам огромных автофургонов — лорри, увозивших мясо, ветчину, колбасу и консервы в магазины и рестораны. Еще больше продуктов отправляли со скотобоен по железным дорогам. Скотопригонный двор, имеющий 240 километров путей, был забит тысячами вагонов, на которых можно было увидеть эмблемы многих железнодорожных компаний.

У каждого, кто видел бойни, не остается сомнений, что Чикаго нельзя представить без этой достопримечательности так же, как Рим без Колизея или Париж без Нотр-Дам и Елисейских полей. Но уже в недалеком будущем Чикагские бойни исчезнут навсегда.

Пожилой ковбой, сдвинув на затылок побелевшую от солнца фетровую шляпу, усмехается. Хватит!.. За свою жизнь он немало помучился, гоняя скот в Чикаго за сотни миль.

Скоро откроются большие бойни в Канзас-сити на Западе. Они избавят скотоводов от необходимости дальних перегонов. С точки зрения ковбоя, новшество вполне оправдано. Одобрят его, наверное, и чикагские мясные короли: с деньгами можно командовать всюду. Короли не упустят своего и в Канзас-сити.

А как отразится на рабочих такое перемещение? Нельзя забывать, что на бойнях занято сейчас более ста тысяч человек. Куда они пойдут?

— Конечно, будет трудно, — соглашается наш гид. — Некоторые поедут на новые бойни. Специалисты и там потребуются. А кому-то придется искать новую работу.

Искать — еще не значит найти. Официальные данные подтверждают, что миллионы американцев занимаются такими поисками без всякой надежды на успех.

Для Чикаго трагедия рабочих боен, впрочем, не будет новостью. Ведь известно, что этот город являлся некогда центром американской кинематографии. Когда появился Голливуд, тысячи чикагцев, занятых в кинопромышленности, остались без работы. Это, видимо, уже забыто теперь...

* * *

После закрытия боен в Чикаго для туристов остается еще много интересных и поучительных достопримечательностей.

Мне кажется, во всей Америке трудно отыскать магазины, подобные чикагским. Перед ними даже шестиэтажный универмаг братьев Гимбелс в Нью-Йорке покажется карликом.

Популярности чикагских музеев могут позавидовать многие их собратья в других городах.

Очень своеобразен и любопытен Музей науки и индустрии, где мы встречали не только туристов, но и чикагцев, приходивших сюда целыми семьями. На площади перед зданием музея, казалось, шумела веселая ярмарка. Длинный ряд автобусов и легковых машин выстроился в конце площади перед выездом на бульвар. Дети и взрослые осаждали продавцов мороженого, кока-колы и любимых американцами пирогов с яблоками.

По ступеням красивого серого здания музея спокойно текла людская река (может быть, спокойная потому, что билетов на вход в музей ни с кого не спрашивали).

В залах было душно. Кондиционированного охлажденного воздуха из установок поступало недостаточно, и у многих посетителей лица блестели от пота. Несмотря на жару, мы провели в музее несколько часов.

Трудно было оторвать взгляд от интересных вещей. В музее хранился древнейший американский паровоз и первый самолет. Здесь мы ходили по улице старого Чикаго, перенесенной в музей целиком с мостовой, фонарями, магазинными витринами, смешными автомобилями и газетами из 1910 года в наши дни.

Наряду с любопытными реликвиями старины музей хорошо представлял и сегодняшний день американской науки и техники.

В отделе радио и телевидения посетители получали широкое представление о принципах цветного телевидения, которое уже имеется в Америке. Вместе с толпой посетителей, неторопливо двигаясь по залу, мы приблизились к потоку ослепительного света. Камера телепередатчика запечатлевала каждого проходившего перед ней, и человек тут же видел на нескольких экранах свое цветное изображение.

В отделе электроники внимание привлекала работа сложных машин, созданных на основе кибернетики.

В театре электропредставлений, когда мы вошли туда, внезапно погас свет. Зрители невольно ахнули: мелькнула лиловая молния. Через минуту послышался смех. Свет зажегся, и лектор стал показывать снимки, сделанные в абсолютной темноте с помощью ультрафиолетовых лучей.

Но Америка оставалась Америкой. Даже в музее нельзя избежать примелькавшейся всюду проникающей рекламы! Показывая современное производство каучука, его роль в промышленности и в обиходе, музей отводил место и для рекламы. Компания резиновых изделий убеждала посетителей в особой прочности выпускаемых ею автомобильных шин. Тяжелый притупленный нож гильотины падал с большой высоты на шину и отскакивал, не причинив резине никакого вреда. Подобные коммерческие установки мало что давали для посетителя и подчас заслоняли от него более ценное, менее бросавшееся в глаза.

Понадобилось бы много времени для того, чтобы рассказать подробно обо всем, заслуживающем внимания в этом музее и Музее натуральной истории. Там имеется один из самых больших в мире аквариумов, в котором живут обитатели подводного царства всех частей света, начиная от исполинских акул и страшнейших лиловых «тигров» — пираний, похожих на нашего леща, но сжирающих в несколько минут огромного быка, попавшего в Амазонку или в другую реку, где водятся кровожадные тупорылые пираньи.

* * *

Картина праздничного дня в Чикаго будет неполной, если ничего не сказать про то время, когда на высоких металлических мачтах, украшенных корзинами с цветами, вспыхивают голубоватые светильники, а на Вабаш-авеню у дверей «Кабаны» вывешивается объявление, что в этом ночном клубе выступают красивые девушки, «раздетые до минимума»...

Впрочем, ночные развлечения в «Кабане» и «Эмпайр руме» Пальмер-хауза существуют для немногих. Большинство же чикагцев проводит вечерние часы у экранов своих телевизоров, в кинотеатрах или на представлениях в мюзик-холлах, где и программа и обстановка всегда вполне добропорядочны.

Кому из нас не приходилось слышать об американских кинотеатрах, где не существует сеансов. Фильмы в них демонстрируются без перерыва, и зрители входят и выходят из зала в любую минуту.

Возможно, что и такая система где-то существует, но лучшие кинотеатры ее не придерживаются. Наоборот, они строго разграничивают время сеансов. Один из них начинается в два с половиной часа дня, а следующий — в половине девятого вечера.

Казалось удивительным, что даже в воскресенье богатейший кинотеатр «Мак Виккерс» ограничивается двумя сеансами. Но мы не учитывали особенностей американской кинематографии.

Выпускаемые в Америке фильмы идут обычно не менее трех часов. Пройдет первая половина картины, и на экране появляется титр: «Перерыв». Через пятнадцать минут в зале снова гаснет свет, и зритель досматривает окончание фильма.

К особенностям американского кино следует отнести и стоимость билетов. Цены в американских кинотеатрах весьма высокие. За билет приходится платить почти три доллара. Рассчитывать на полный сбор трудно даже при двух сеансах. Из-за этого приходится идти на всяческие ухищрения. У дверей многих американских кинотеатров рядом с рекламными витринами видишь зазывал-великанов, одетых в красные ливреи и маскарадные костюмы.

Владельцев кинотеатров два сеанса в день вполне устраивают. В этом случае меньше расходы на рекламу, меньше налоги, да и зрителя легче привлечь, если идет получивший известность кинобоевик, что подтверждал пример «Мак Виккерса». Четвертый месяц подряд в этом театре шел «Соут Пасифик» — фильм, нашумевший по всей Америке и сделавший юную восточную красавицу Франс Нуйен одной из самых прославленных кинозвезд. Поставленная с чисто голливудским размахом, довольно банальная, не блещущая актерскими находками история любви американского офицера и обитательницы одного из южных островов Тихого океана уже более года не сходит с экрана. Досужие репортеры успели подсчитать, какой доход от продажи билетов выручен на Бродвее. Теперь и в Чикаго «Мак Виккерс» получал изрядный доход от «Соут Пасифика».

Близится полночь. Закрываются двери кино, темнее становятся улицы, когда гаснут зарева световых реклам.

Заметно тихо стало и на Мэдисон, и на Вабаш, и на Мичиган-авеню.

Прохожих уже не видно. Только кое-где у входных дверей домов можно заметить девушек, окруженных моряками. Они, возможно, никогда не бывали в южных морях, где развертывается действие «Соут Пасифика», но только ли под тропиками обитает любовь?..

Ровный, чуть голубоватый свет льется с высоких столбов на серые коврики каучуковых тротуаров, на позеленевшие от времени фигуры всадников. И ночью все так же неукротимо мчатся бронзовые индейские воины. Но как ни стремительны их кони, не могут они доскакать до недосягаемого Мичигана. А озеро темнеет совсем невдалеке, — большое, умиротворенное ночной тишиной. Мичиган напоминает о себе спящему городу прохладным дыханием воды, в которой качается и тонет отражение звезд и огней Чикаго.

Игорь Седов

ВОСЬМАЯ БРИГАДА

(Рассказ деда Захарыча).

Остался я, значит, не у дел. А почему? Демонстративно ушел с поста. Пост я занимал ответственный — сторожил лавку сельпо. Только как у них хищениев да растрат разных наобнаружили—не стало там ноги моей.

«Жулье, думаю, проклятое. Я до народного добра не то что человека — мухи, бывало, не подпускал. А они... Тьфу их... Пусть теперь в тюрьме горбом перед народом оправдываются...»

Пришел я, значит, вакантным к нашему колхозному председателю, Ивану Митрофановичу. Докладываю, так, мол, и так, давай, председатель, работенку подходящую. Сам знаешь, в какую я ситуацию попал. А без дела сидеть не могу.

Иван Митрофанович выслушал меня внимательно, прошелся раза два от стола до окна, посмотрел зачем-то на улицу, потом на меня еще разок взглянул, словно оценивал мои наличные возможности, и говорит:

— Принимая во внимание, Захарыч, характер твоей предыдущей работы и учитывая знакомство с товаропроводящей сетью, вношу на твое рассмотрение предложение...

Надо сказать, что до нас Иван Митрофанович где-то долго возле бумажек работал, оттого и разговор у него такой остался. Сейчас уж отвыкать стал. Дмитриевна, что сны разные объясняет, говорит, пройдет это у него...

Одним словом, поручили мне сопровождать нашу овощную и прочую продукцию на колхозный рынок. Поначалу разнообразие было. Сядешь себе в грузовичок промеж огурцов там разных и пылишь по дороге до города. Поторгуешь и обратно. Торговлю вел Федька, а я, значит, заместо общественного ревизора. Только стал я примечать: после торгового дня Федька всегда навеселе. Где он, думаю, шут гороховый, деньги на выпивку достает? И приметил. У нас с колхозного огороду овощь известно какая: свежая, крупная — вся на подбор, так в миску и просится. А он, этот Федька, наскребет в своем собственном огородишке замухрышек разных и шпарит их на базар под видом колхозных, а наш товар как свой продает. Мало того, что наживался, так еще колхоз позорил. Ну, представил я правлению всю эту картину в полном ассортименте. Федьку срочно заменили. Тогда и мне вроде незачем ездить стало: людей честных поставили. Прихожу я, значит, опять к нашему председателю насчет дальнейших руководящих указаний.

Выслушал меня Иван Митрофанович, прошелся три раза от стола к окну и заявляет:

— Человек ты, Захарыч, сознательный и инициативный. А будучи таковым, отбрось личные сомнения и определи сам свое место в колхозном производстве на нынешнем этапе его развития.

И пошел я, значит, искать свое место в колхозном производстве. Перво-наперво завернул в третью комплексную бригаду. Бригадирствует там Маркелов сын. Прямо скажу: умело хозяйничает. Жатки, которые лафетные, лафетируют, комбайны комбайнируют. Дельно и сдельно люди все на полном серьезе работают. Прошелся я у жаток и говорю все же бригадиру: «На низком срезе косишь!» Он что-то прикинул в уме и сразу повернул дело на нужный срез, да еще отблагодарил за критику. А мне того и надо. Попрощался и на ток двинулся. И там вижу энтузиазм. Зернопульт веером зерно рассыпает, женский персонал его на транспортер подкидывает и в кузов. По-научному это называется комплексная механизация.. От такой механизации у хлебороба на душе легко становится.

Возвращаюсь я, значит, домой и вижу такую картину: стоит у своего дома тетка Сте-

панида с незнакомым человеком и, видать, о чем-то его упрашивает.

А он, видать, уперся, как бык, и головой отрицательно мотает.

Смекнул я, что тут дело нечисто. Подхожу, значит, к ним своим ходом, здороваюсь и так это вежливенько интересуюсь:

— О чем это вы, дорогие граждане, средь бела дня торгуетесь? Может, рассудить кого?

Степанида молчит, а он, мужчина, значит, в прения со мной пускается.

— Проходи, дед, стороной! Не терплю, когда в мои дела лезут. Отодвинься, пока не поздно!

Рассерчал я от таких его нахальных слов и пошел напролом:

— Ты, гражданин прохожий, встань на свое место и не лайся на людей со стажем! Всякое может обернуться... Прогуляемся-ка лучше до сельсовета. Рядом здесь. Объяснишь власти: зачем в наше село пожаловал и баб наших смущаешь?

Тут и у Степаниды язык развязался:

— Оставь его, Захарыч! Печник это, приезжий. Печь-то у меня разваливается, а своих не допросишься починить. Вот и подряжаю его. Он за мою-то цену не согласный. Сотню запросил...

Взорвало меня пуще прежнего.

— Гони ты его, «шабашника», ко всем чертям собачьим! Не работается ему, вишь, дома в колхозе. На сторону подался людей охмурять. Без него обойдемся. Сам приведу тебе печь в порядок. Залюбуешься!

Не поверила было Степанида моим словам, да уж потом, как затрещали дрова в печи, да пошел парок от стенок, благодарила она меня, вплоть до поллитровки.

От материального поощрения я, конечно, отказался. Но задуматься задумался. Ежели по справедливости рассудить, то не у одной Степаниды к «шабашникам» нужда есть. Сруб поставить, печь ли починить или еще какой крупный ремонт произвести — куда им, женщинам, податься, как не к хапугам, что, словно саранча, из села в село перелетают и деньгу заколачивают?

Размышляю я, значит, самотеком по упомянутой повестке дня и принимаю самостоятельно резолюцию: собрать всех стариков, с ремеслом знакомых, которые в данный момент по избам отсиживаются, и помочь народу в оборудовании личных жилищ.

Нашлись в селе такие: кто по плотницкой части, кто по печной, а кто и стекло резать умеет. Собрал я их по добровольной договоренности однажды утром, и направились мы общей колонной напрямик к избе вдовы одной, Митюхиной. Идем с топорами, рубанками да фуганками, а народ, значит, в недоумении: откуда, зачем пожаловали к нам такие работнички? Кто-то возьми да и крикни: «Восьмая бригада идет!» (В колхозе-то у нас семь их).

От тех времен и укрепилось за нами название — восьмая бригада. А нам все едино— восьмая там или двадцать восьмая, мы свое дело знаем — из дома в дом потихонечку переходим и реконструкцию в них наводим. В самый раз до холодов управились.

В Октябрьские праздники, значит, нам торжественно грамоты дают Почетные, и председатель Иван Митрофанович самолично приветствует нас с высоты кумачовой трибуны:

— Большое колхозное спасибо вам, товарищи деды, за проделанную работу! И за учебу спасибо! Давно пора было правлению колхоза позаботиться о благоустройстве села.

УВАЖИТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА

Подчиненные давно не видели Ивана Сергеевича в таком возбужденном состоянии. Обычно спокойный, невозмутимый, тактичный, он на этот раз, как говорится, выходил из себя.

— Нет, это черт знает что такое! Форменное безобразие! Хулиганство какое-то! Так напиться, да еще в рабочее время. Если бы сам не видел — не поверил бы. Дошел до ручки, нечего сказать. И это называется работник областного масштаба! Растили, растили его, вырастили до старшего инспектора. А он... Позор на весь коллектив! Товарищ Грохотов, — обратился он к начальнику отдела кадров,—пригласите ко мне Пинчука.

Когда в кабинете появился председатель месткома, Иван Сергеевич разразился новой тирадой против пьяниц и их пособников-либералов.

— Как хотите, товарищ Пинчук, а я этого

пьяницу-дезорганизатора Бурыкина увольняю. Увольняю и баста! Мы ведь, как-никак, областная организация. Хотя и называемся конторой, а ведь людей призваны воспитывать. Сознаюсь, я либеральничал, но вы, товарищ Пинчук, мало, прямо скажем, мало работали с Бурыкиным по профсоюзной линии. Ну это, так сказать, учтите на будущее. А вас, товарищ Грохотов, попрошу срочно подготовить приказ об увольнении. Без выходного пособия. Надо, наконец, избавить наш здоровый коллектив от этого инородного тела!

На следующее утро предместкома заглянул к Ивану Сергеевичу и поинтересовался судьбой приказа об увольнении Бурыкина.

— Какой приказ? — изумился Иван Сергеевич. — Ах, тот самый... о Бурыкине... Да вы знаете, с кем он пил? Нет? Так я и знал. Он пил с самим... одним словом, с нужным и полезным нам человеком. Бурыкин здесь ни при чем. И платил не он, и наливал не он. А мы его за это хотели уволить!.. Как бы мы некрасиво с вами выглядели, товарищ Пинчук. Хорошо, что я успел изменить свое решение. А вы уж там поработайте с Бурыкиным по профсоюзной линии... Авось, образумится.

Виктор Ракитин

ТАРАКАН

Басня.

Однажды в ясный день
Прусак увидел собственную тень
И закричал:
— Какой я великан —
Всем тараканам Таракан!
С тех пор ко всем знакомым
Насекомым
Он обращался свысока
И обрывал на полуслове
Не только брата-прусака,
Но даже старого Жука:
— Э, полноте! Мы ж сами
С усами!
На критику брюзжал, советов не терпел —
Не спорьте с великаном!
А хлеб задаром ел...
Вредны масштабы Тараканам!

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ.

Один свечку, другой свечку, а попу — на овечку.
Попу темнота народа — источник дохода.
Земля любит навоз, а поп — принос.
Карман сух, так и поп глух.
У попа сдачи не бывает.
Кому убыток, а попу доход: с живого и мертвого дерет.
Не кропилом маши, а глубже паши.
Трудно Магомету с нами: рай на земле строим сами.
Попы да черти одной шерсти.
Попу да вору все впору.
Молился, молился, а гол, как родился.
Не Миколай да Илья-пророк, а косилка да тракторок.
Родись, крестись, женись, умирай — за все попу деньги отдавай.

Записал Н. Круть
в селах Пензенской области.

А. Рясенцев,

заслуженный врач РСФСР.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ Н. Ф. ФИЛАТОВА

В настоящее время дату рождения основоположника русской педиатрии Нила Федоровича Филатова, в определении которой существовала путаница, можно считать точно установленной. Пензенским краеведом С. Г. Кузнецовым обнаружена в областном архиве метрическая книга церковного прихода села Протасова Саранского уезда за 1847 год, не оставляющая сомнения, что Н. Ф. Филатов родился 20 мая (по старому стилю) 1847 года.

Родина Нила Филатова — село Михайловка Саранского уезда бывшей Пензенской губернии.

Известно, что великий педиатр, отличаясь исключительной скромностью, не оставил после себя каких-либо записей автобиографического характера. Этот пробел, касающийся детского периода жизни Нила Федоровича, восполнил в известной мере его брат, погодок по возрасту, Петр Федорович. Впоследствии врач по образованию, незаурядный хирург, он передал дарование своему сыну— выдающемуся советскому врачу и ученому-окулисту Владимиру Петровичу Филатову.

Среди нескольких очерков, написанных Петром Федоровичем в разные годы и опубликованных в некоторых русских периодических изданиях, привлекает внимание его автобиографическая повесть под названием «Юные годы», напечатанная в журнале «Псовая и ружейная охота» за 1905 год.

Эти мемуары приоткрывают завесу и над детскими годами знаменитого педиатра Нила Федоровича Филатова.

Здесь мы встречаем и описание его отчего дома, где он резвился ребенком и где позднее бывал студентом и врачом.

Дом до настоящего времени не сохранился. Он уничтожен пожаром. Это было длинное с зеленой крышей одноэтажное здание с двумя флигелями по сторонам. Перед домом, по описанию Петра Федоровича, был широкий двор, заросший густой травой, четко разлинованный прямыми дорожками. За домом — большой фруктовый сад и речка в крутых берегах. В конце главной аллеи, начинавшейся от балкона, росли густые акации, образовавшие своими ветвями тенистый свод.

Сад был местом постоянных игр двух неразлучных в детстве братьев. Своей таинственностью он будил фантастический детский мир. Летом купались в речке, удили рыбу, ходили за грибами. Зимой — облава на волков, верховая езда.

Будущий великий педиатр рос и развивался в одной из тех представлявших исключение дворянских семей, где с первых же лет детям, наряду с воспитанием в них любви к труду, внушалось уважение к людям, стоявшим на низших ступенях социальной лестницы.

Знаменитый основоположник материалистической физиологии великий русский ученый Иван Михайлович Сеченов, отец которого был соседом деда Филатова, в своих автобиографических записках так отзывается о Филатовых: «Нельзя не помянуть добрым словом семью Филатовых, с некоторыми членами которой мне приходилось встречаться дружески всю жизнь до самого последнего времени».

Первым учителем Нила Федоровича, обучавшим его русскому языку и правилам арифметики, был дворовый — крепостной Николай Ануфриевич Морозов, по свидетельству автора воспоминаний, человек редкого ума, большой начитанности и обладавший к тому же поэтическим даром.

Он пользовался в семье Филатовых доверием и уважением. Дети очень любили Николая Ануфриевича и с глубокой печалью, как вспоминает Петр Филатов, переживали его смерть. Н. А. Морозов, прожив свои последние годы на покое в своем доме, подаренном ему Филатовыми вместе с землей, находившейся против их усадьбы, умер от туберкулеза.

Та характеристика, какую дает Н. А. Морозову Петр Федорович Филатов, заставляет думать о немалом влиянии талантливого крепостного на будущего ученого, как и на других детей Филатовых.

Отец Нила Федоровича — Федор Михайлович Филатов, бывший кавалерийский офицер, больше заботился о физическом воспитании сыновей. Но вместе с тем он с уважением относился и к образованию, всячески поощряя соревнование между Нилом и старшими братьями Михаилом и Абрамом в школьных успехах.

Немалое влияние на юного Нила имела мать Анна Абрамовна, очень умная, волевая женщина, пользовавшаяся у детей непререкаемым авторитетом. Дети ее слушались во всем.

«Она почти никогда не наказывала, — вспоминает Петр Филатов, — но достаточно ей сделать замечание за какую-нибудь неуместную выходку, как ничего подобного уже не повторялось. И вместе с тем она была с нами очень ласкова».

Анна Абрамовна занималась с детьми иностранными языками. По вечерам просила кого-нибудь из детей читать вслух рассказы, и ее выбор произведения был так удачен, что все слушали с интересом.

Дети платили родителям взаимной нежной привязанностью, и периодическая разлука с домом и родными, на время учебы в Пензе, была для Нила тяжелым переживанием.

7 августа 1858 года, в возрасте 11 лет, хорошо подготовленный Нил Филатов поступил во второй класс Пензенского дворянского института.

Дворянский институт, где обучались четыре брата (Михаил, Абрам, Нил и Петр), являлся самостоятельным средним семиклассным учебным заведением с полным пансионом. Этот институт находился на Дворянской улице, теперь Красной, в трехэтажном здании. В нижнем помещались квартира директора, столовая, больница. В среднем — классы и залы, учительская и физический кабинет. Широкая чугунная лестница вела на третий этаж, где находилась церковь, спальные комнаты и гардеробная.

Здание бывшего Дворянского института хорошо сохранилось до наших дней. Здесь теперь первая средняя школа имени Белинского.

Режим в Дворянском институте был казарменный. В восемь утра — подъем по звонку, завтрак, который обычно состоял из чая без молока и ломтя белого хлеба, иногда каши с салом. Обед был в два часа. Нередко недоброкачественная и скудная пища вызывала бунт воспитанников.

Вообще в институте царили жестокие нравы и полный произвол надзирателей и учителей. Воспитание велось по системе, введенной еще Николаем I, стремившимся изгнать из учебных заведений всякий вольный дух.

В институте для провинившихся существовала система самых изощренных наказаний. Помимо карцера и оставления на неделю без обеда или ужина жертву драли за ухо до появления опухоли, тянули за нос, заставляя бежать за собой на кончиках пальцев ног. Каждую неделю собирали учеников, получивших плохую отметку, если они даже и успевали ее исправить, и, разложив на скамье, нещадно пороли розгами. На образном языке изуверов-наставников это наказание называлось «примеркой штанов».

«Крики истязуемых, — вспоминает Петр Филатов, — доносились до воспитанников, непрестанно волнуя их и вызывая в них негодование и глубокую, затаенную ненависть к своим палачам-педагогам».

Нил Филатов во всех классах учился прекрасно. Его имя ежегодно появлялось то на «золотой», то на «серебряной» доске. Своим поведением он не давал повода к придиркам наставников и только был постоянным свидетелем истязаний других. Все это тяжелым грузом ложилось на юную впечатлительную душу Нила, привыкшего в своей семье к чуткому, ласковому и справедливому отношению.

Резкий контраст между впечатлениями семейного уклада жизни и потрясающими воображение сценами казарменной муштры в институте, возможно, способствовал формированию в Ниле Филатове того своеобразного характера, которым он отличался впоследствии по свидетельству сослуживцев и учеников. Редкая отзывчивость, мягкосердечность, доброта сочетались в нем с замкнутостью, сдержанностью и кажущейся суровостью.

С отвращением вспоминая время своей учебы в институте, брат великого педиатра Петр Филатов задает себе вопрос: «Почему же все-таки нас не исковеркало это заведение, почему из нас вышли люди, а не нравственные уроды?»

«Этим, — утверждает он, — мы были обязаны облагораживающему влиянию молодых преподавателей института, проникнутых идеями 60-х годов».

Такой светлой личностью в затхлой среде тогдашних педагогов являлся общий любимец воспитанников, преподаватель математики и физики, отец великого вождя трудящихся В. И. Ленина Илья Николаевич Ульянов.

Он был назначен в Дворянский институт еще совсем юным человеком, прямо с университетской скамьи. Годы его педагогической деятельности (1855—1863) совпадают с годами пребывания в институте Нила Филатова.

Талантливый педагог, Илья Николаевич увлекал учащихся своим живым, нешаблонным методом преподавания, и математика становилась любимым их предметом.

Нил Филатов, обнаруживая незаурядные способности по математике, получал высокую оценку своим знаниям со стороны Ильи Николаевича. Так, рукой его в ноябре 1861 г. пятикласснику Нилу было записано: алгебра — 5, геометрия — 5, способность — 5 и прилежание — 5.

Наряду с И. Н. Ульяновым свежую струю в преподавание вносили, по словам Петра Филатова, словесники Логинов и Захаров, преподаватели естествоведения Ауновский и Горизонтов.

Дворянский институт был закрыт по финансовым соображениям в августе 1863 года, и в этом здании в 1864 году разместилась семиклассная гимназия.

К этому времени и относится последний год пребывания Нила Филатова в средней школе.

4 июля 1864 года он получил аттестат об окончании полного курса учебного заведения с семилетним сроком обучения. В аттестате его успехи оценены отметкой «отлично» — по математике, физике, истории, литературе и естественной истории. По остальным предметам ему выставлены «четверки».

Осенью того же 1864 года, в возрасте 17 лет, Нил Филатов поступает на медицинский факультет Московского университета, гордостью которого ему суждено было стать впоследствии.

Л. Цинговатов

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пензенская область расположена в своеобразных географических условиях — в лесостепье. Здесь находится стык лесного и степного типов природы. Почвы плодородные, черноземные, климат умеренно-континентальный. Сезоны года выражены четко, классически.

Но все же от года к году, от сезона к сезону наблюдаются известные отклонения: весна бывает то ранняя, то поздняя; осень — то дождливая и холодная, то такая теплая, что вторично цветут некоторые растения.

Изучением сезонного развития природы занимается фенология. Она имеет большое значение для народного хозяйства, знание сезонных условий помогает лучше использовать природные силы.

Раньше фенологические наблюдения передавались из поколения в поколение устно. Эти народные приметы показывают, как были наблюдательны крестьяне, которым в первую очередь приходилось соприкасаться с природой.

«Сей в пору, соберешь хлеба гору», — говорили в народе, «Завел огород, всему знай черед — когда посадить, как уходить, как убрать угодить», «Пока у березы лист мал — яровые сей смело, а коли в полную величину вырастет — немедля остановись», «Когда лопаются сережки у березы — пора сеять хлеб», «Май холодный — год хлебородный», «Сей овес в грязь — будешь князь» и т. д.

Интересно отметить, что Петр I указывал на необходимость систематических наблюдений за сезонными явлениями природы.

В период развития капитализма фенология делает крупные шаги, так как усиливается стремление использовать все новые и новые природные богатства страны.

В это время развивает свою деятельность в Петербурге проф. Д. Н. Кайгородов, который организует фенологическую наблюдательскую сеть в пределах почти всей России, в том числе и в Пензенской губернии.

В статье В. Кеппена «О наблюдениях периодических явлений природы» (Записки императорского Русского Географического О-ва, т. 6, кн. I, С.-П., 1875 г.) указывается, что «Сельская летопись за 1851 г.» помещает фенологические материалы и по Пензенской губернии.

В «Записках общества сельского хозяйства Юго-Востока России за 1852 г.» помещена статья А. Горизонтова, где автор знакомит читателей со своими наблюдениями за растениями и животными. В этих же «Записках» за 1858 г. Горизонтов помещает «Таблицу наблюдений годовых периодов растений».

В работе П. Морозова «Городищенский уезд» (Статистическое описание Пензенской губернии за 1854 г.) и в книге этого же автора «Метеорологические очерки, составленные из наблюдений, произведенных в разных местах Средней России и преимущественно в Пензенской губернии» (Москва, 1865 г.) говорится: «В течение 20 лет сряду и непрерывно я производил наблюдения в имении моем Городищенского уезда Пензенской губернии». В этих работах П. Морозов описывает сроки посева зерновых, сроки сенокоса и жатвы хлебов в Городищенском уезде.

Он, в частности, отмечает, что «между 20.IV и 1.V — лучший сев для овса и ячменя. В этот период появляются сморчки, распускается береза, бузина...»

В 1857 г. А. Горизонтов в своей книге «Сельское хозяйство и вспомогательные науки. Пензенский уезд» рассматривает фенологию дикорастущих растений и некоторых сельскохозяйственных культур, а в 1867 г. Сталь в книге «Материалы по географии и статистике Пензенской губернии» в главе «Климат» дает характеристику сезонов года, приводит данные о развитии древесных растений по нескольким пунктам Пензенской губернии. Здесь же отметим, что, начиная с 1857 года, в Училище садоводства начали проводиться систематические фенонаблюдения Баумом.

Краеведом Кузнецкого уезда Ф. Ф. Чекалиным была опубликована работа «О климате Кузнецкого уезда в связи с влиянием его в области местного сельского хозяйства». В этой статье Чекалин приводит ряд своих фенологических наблюдений за период с 1863 по 1881 гг.

С 1888 по 1916 гг., на протяжении 28 лет, проводились орнито-фенологические наблюдения Симаковым в г. Пензе и в других пунктах Пензенской губернии. Автор рассматривает прилет птиц, их гнездование и т. д.

В начале нашего столетия фенологические наблюдения в Пензенской губернии были представлены работами учителя Г. Д. Смагина (корреспондент проф. Кайгородова). Смагин начал свои наблюдения в с. Коповке Керенского уезда (Вадинский район), а с 1908 г. до настоящего времени он непрерывно ведет их в с. Атмисее. Смагин опубликовал несколько календарей весны Пензенской губернии.

С организацией в 1919 году метеорологической сети в Пензенской области сравнительно широкое распространение получили и фенологические наблюдения.

В 1925 г. в Кузнецке под руководством учителя М. И. Чинаева в кружке краеведения силами учеников проводились систематические фенонаблюдения, а в 1927 г. в Кузнецком уезде уже насчиты-

валось 9 пунктов наблюдений. Кружок Чинаева публиковал свои работы.

Кузнецк, таким образом, как и Атмисс, является пунктом, где фенонаблюдения имеют непрерывный длинный ряд лет.

В 30-х годах с организацией сортоиспытательных участков фенологические наблюдения за сельскохозяйственными культурами стали проводиться регулярно и достаточно полно.

В годы Великой Отечественной войны геоботаником Б. П. Сацердотовым в соавторстве с другими специалистами была составлена программа фенологических наблюдений в Пензенской области, но, к сожалению, она не увидела света.

Начиная с 1944 года по 1954 г., в Поимском районе автором этих строк велись фенологические наблюдения в лесничестве имени профессора Г. Ф. Морозова. Этот пункт в Географическом Обществе СССР, в Фенологической Комиссии, был зарегистрирован под № 431. Предварительные результаты наблюдений опубликованы в журнале «География в школе» (№ 5, 1948 г.).

Данные фенологии необходимы особенно теперь, когда ведется борьба за подъем урожайности сельскохозяйственных культур и увеличение продуктивности животноводства. Организация таких наблюдений в школе поможет ей укрепить свою связь с жизнью.

М. Полесских

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ НАЗВАНИЕ „АХУНЫ“

Однажды в музей пришел пенсионер Э. Г. Гроссет и принес с собой бутылку. Ничего особенного она не представляла, но пробка, скрепленная с горлышком сосуда проволочным запором, была интересна. Сверху на белой глазированной поверхности пробки читалась печатная надпись: «Пенза».

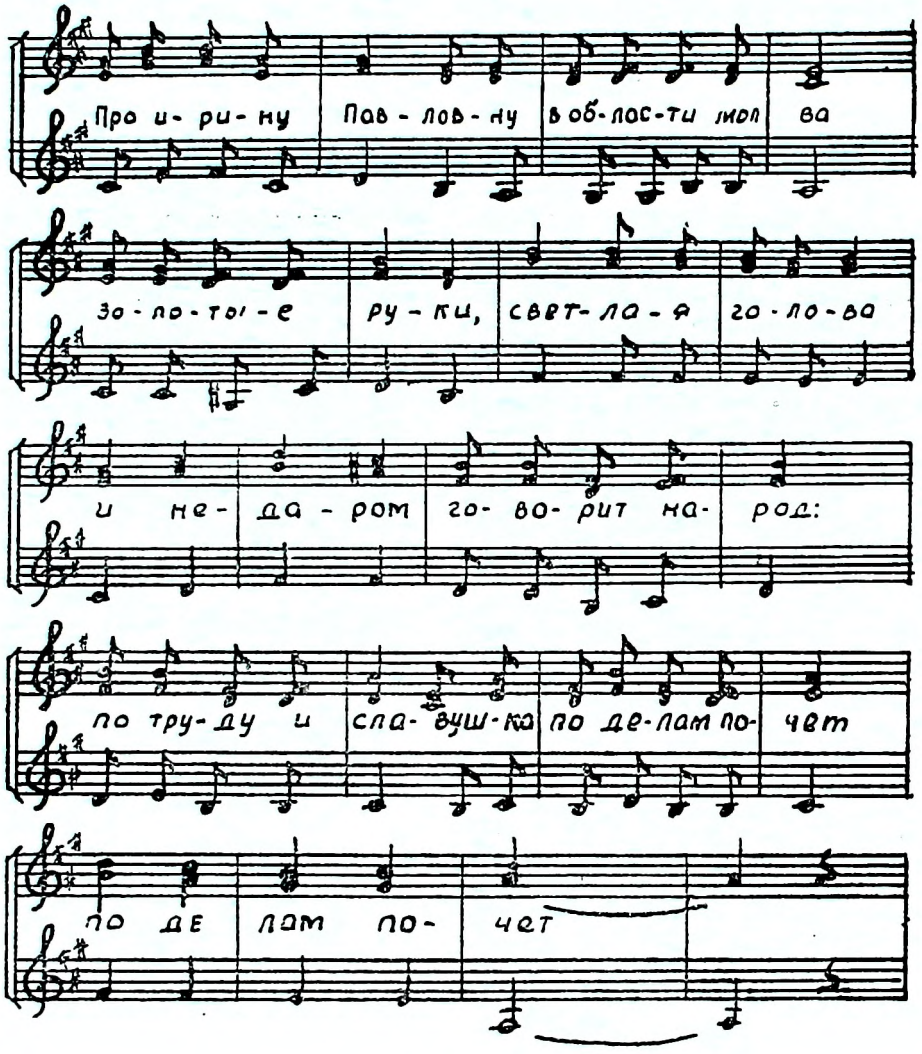
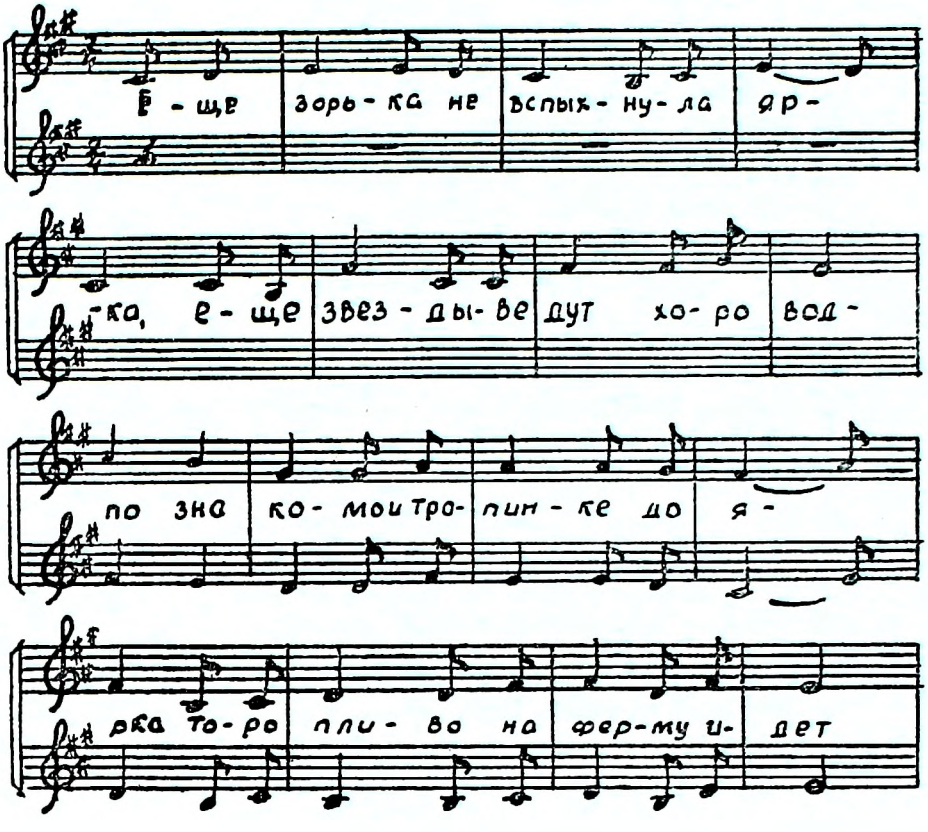
— Эта бутылка дореволюционного производства, — сказал наш посетитель. — Предназначалась она под кумыс. В 1898 году в Пензе появился некий Ахун Потиев, по национальности татарин. Он заключил с Пензенско-Саратовским управлением государственных имуществ договор сроком на 99 лет об аренде местности за Сурой. Об этой аренде мне известно потому, что я в то время работал в аппарате Пензенско-Саратовского управления, находившегося в ведении министерства земледелия и государственных имуществ.

Ахуны, как их привыкли называть с этого времени, представляли собой лесной массив с большими сенокосными угодьями, на которых паслось стадо кобыл арендатора. Ахун Потиев стал выделывать кумыс и пускал его в продажу тремя сортами: крепким, средним и слабым.

В пензенские аптеки кумыс завозился в специальных бутылках, которую любезно подарил музею Э. Г. Гроссет.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

Слова В. Застрожного. *Музыка Б. Шкалова.*

Песня о лучшей доярке Пензенской области Ирине Павловне Пильниковой.

Еще зорька не вспыхнула ярко,
Еще звезды ведут хоровод —
По знакомой тропинке доярка
Торопливо на ферму идет.

Припев: Про Ирину Павловну
В области молва:
— Золотые руки,
Светлая голова!
И недаром говорит народ:
— По труду и славушка,
По делам — почет.

Ей по силу любая задача,
По плечу ей рекордный надой,
Потому что не может иначе,
Потому что характер такой.

Припев.

Не уступит она, не устанет,
И, чтоб жил побогаче народ,
На селе она первая встанет
И последняя с фермы уйдет.

Припев: Про Ирину Павловну
В области молва:
— Золотые руки,
Светлая голова!
И недаром говорит народ:
— По труду и славушка,
По делам — почет.

СОДЕРЖАНИЕ

Семь великих лет 1

Очерки наших дней

Ю. Кривошеев. Смена закалится в труде 3
А. Скорняков. На стройках Пензы 8
Н. Почивалин. Дорожные стихи 14
Алексей Карасев. Южный ветер, репортаж в стихах . . . 15
А. Васильев. Третий фронт, рассказы 17
Петр Журавлев. У обрыва, рассказ 30
Георгий Крылов. Памятник Л. Н. Толстому. Вечер у моря, стихи 34

На зарубежные темы

В. Садовский. День Колумба в Чикаго 35

Сатира и юмор

Игорь Седов. Восьмая бригада. Уважительная причина, рассказы 39
Виктор Ракитин. Таракан, басня 41
Пословицы и поговорки, записал Н. Круть 41

Заметки краеведа

А. Рясенцев. Детские годы Н. Ф. Филатова 42
Л. Цинговатов. Фенологические наблюдения в Пензенской области 44
М. Полесских. Откуда взялось название «Ахуны» 45

Новые песни

В. Застрожный, Б. Шкалов. Золотые руки 46

Обложка художника *К. Захарова.*

Редактор *Н. И. Катков.*

Редколлегия *А. П. Анисимова, К. Д. Вишневский, Н. А. Грачев, Ф. М. Деорянов, Н. М. Почивалин, И. П. Седов, Г. Н. Федотов.*

Художественный редактор *И. Савчук.* Технический редактор *Е. Воронкова.*
Корректор *А. Храмова.*

Сдано в набор 20/II-59 г. Подписано к печати 9/III-59 г. Формат 84×108¹/₁₆.
Объем: физ. п. л. 3,0, услови. п. л. 4,92, учет. изд. л. 5,118. Тираж 3000,
ФЛ01842 Изд. № 27.

Пензенское книжное издательство
Пенза, улица Кирова, 65.

Заказ 908. Пензенская областная книжная типография.
Цена 2 руб. 05 коп.

2 р. 05 к.